



Дизайн
И. Ю. Куберский

ЮРИЙ КУБЕРСКИЙ

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Из книги «О людях и войнах»

Осенью 1940 года я наконец почувствовал, что твердо стою на ногах. Я снова был восстановлен в партии и армии, причем с меня было снято партийное взыскание. В звании военного инженера 3-го ранга я занимал должность старшего военного преподавателя электротехники в ульяновском военном училище связи им. Серго Орджоникидзе.

Я отдавал себе отчет в том, что подготовлен лучше, чем другие преподаватели электротехники, я знал, что провожу занятия лучше других, я видел, что меня уважают преподаватели и высоко ценят курсанты. Подчеркнутая настороженность ко мне со стороны комиссара и политотдела училища и их повышенная бдительность в отношении меня, выражавшаяся в придирках чуть ли не к каждому сказанному мной слову, не слишком меня смущали. Работал я с большим желанием, работал не жалея себя, читая лекции по десять часов в день. Угнетало меня только то, что где-то в Азии находился в заключении мой младший брат Виталий. Я не скрывал, что у меня брат арестован, больше того, я открыто говорил, что убежден в его невиновности, хотя такие заявления были небезопасны. Когда бдительные политотдельцы училища задавали мне провокационный вопрос: «Значит, вы считаете, что у нас сидят в заключении невиновные?» я отвечал, что я не делаю обобщений, но я глубоко убежден в невиновности брата.

Выяснив после длиннющей переписки, что брат находится в трудовом лагере вблизи Ташкента, я взял путевку в куйбышевский санаторий и отпуск такой продолжительности, чтобы съездить в Ташкент на свидание с братом, затем оттуда в Москву для хлопот о нем. Добившись свидания с братом, я убедился, что он, несмотря на тяжкие условия жизни в лагере, не потерял веры в благоприятный для себя исход. Из разговора же с ним при двух надсмотрщиках я еще более укрепился в убеждении, что Виталий абсолютно не виновен. В Москве я добился приема у главного военного прокурора, однако из беседы с ним понял, что хлопотать об освобождении Виталия бессмысленно.

- Пусть он благодарит бога, что жив, - сказал мне прокурор.

Примерно в это же время я пришел к ясному пониманию того, что страна живет накануне войны, войны беспощадной и кровавой. Поэтому, рассуждал я, не стоит особенно горевать, что я преподаю не в академии, а в училище, как не стоит и особенно переживать по поводу заключения Виталия. Война расставит всех людей по тем местам, какие они заслуживают...

Понимание пониманием, но в куйбышевском санатории я неожиданно и вопреки здравому смыслу влюбился в молодую девушку, моложе меня на 18 лет, которой в то время еще не было двадцати. Я не намерен здесь описывать этот, как мне кажется достойный внимания, весьма своеобразный роман, но должен сказать, что я впервые встретил женщину, с которой, как я почувствовал, можно создать настоящую семью, и которая готова родить мне ребенка. Я же без ребенка уже не видел смысла в своей дальнейшей жизни. С большими трудностями, с различными

противоречивыми мыслями и опасениями 19 мая 1941 года эта девушка стала моей женой. Женой, которую я действительно крепко любил и готов был носить на руках, перед которой всегда преклонялся и преклоняюсь.

Как и всем, мне было ясно, что война не за горами и разразится буквально на днях, но инстинкт сохранения рода оказался во мне настолько сильным, что я пренебрег всем и вся, и в сентябре мы с женой стали догадываться, что она беременна. А 21 июня 1941 года я с молодой любимой женой поехал в лагерь училища на какое-то празднование и там услышал о начале войны. Отдавая себе ясный отчет в том, что несет с собою война, я в группе приятелей, обсуждавших вопросы, связанные с ней, сказал: «Давайте друзья запомним, кто участвует в нашем разговоре. А когда кончится война, оставшиеся из нас в живых пусть вспомнят тех, кто в ней сгорел».

На второй день войны, кстати говоря, в день моего рождения, я, несмотря на только что созданную семью, подал рапорт на имя начальника училища об откомандировании меня в Действующую армию. На этот мой рапорт долго не отвечали, а ответом свергли меня в крайнее огорчение. В довольно пространной и доходчивой форме мне было сказано: «Вы представляете собою ценного преподавателя для училища, и нигде не в состоянии принести во время войны больше пользы, чем здесь». Кроме того, в политотделе училища мне довольно ясно дали мне понять, что моё желание уйти на фронт является политически вредным. «Об этом вы должны всегда помнить, так же как и о том, что вы совсем недавно исключались из партии и увольнялись из армии», - назидательно поучали меня. О последнем я помнил более чем хорошо, но ещё лучше я понимал, что никогда не прощу себе пребывание в тылу во время такой грозной войны, и что отказ от активного участия в ней обрекает меня на душевные муки до последних минут жизни.

Я перестал бомбить рапортами вышестоящее начальство лишь в октябре 1941 года, когда немцы не только блокировали Ленинград, но и подошли вплотную к Москве. Мне тогда стало понятно, что я не опоздаю на войну, если дождусь рождения своего первого ребенка и помогу своей любимой жене хотя бы немного прийти в себя после родов.

В то трудное в всех отношениях время я делал все, что можно и чего нельзя, ради благополучия своей маленькой семьи. Пользуясь знакомством с директором спирто-водочного завода, эвакуированного с Украины и ставшего директором аналогичного завода в городе Ульяновске, я с его помощью доставал спирт или водку и ездил на село обменивать на сало, мясо, масло, муку, пшено и картошку. Моя жена, несмотря на трудности конца 1941 начала 1942 годов, ни одного дня не голодала и родила чудесного сыночка.

Это случилось 12 мая 1942 года, ночью, когда я был дежурным по училищу. Персонал родильного дома, полностью подкупленный мною, сразу же сообщил мне по телефону о рождении сына, и я, задыхаясь от волнения, выбежал на пыльную улицу и начал плясать и петь от счастья. Утром я уже был в родильном доме, и больничная сестра в нарушение всех правил вынесла показать мне сынка. Он был совсем крошка с красным личиком и, к моему удивлению, с большими, не менее двух сантиметров, торчащими во все стороны черными волосами. После свидания с дорогим для меня существом мне удалось, правда, только через окно, увидеть и жену Ниночку, ошастливившую меня моим преемником. Нет у меня способностей описать, с какой любовью смотрел на нее. Очень побледневшая и похудевшая, она сидела с ногами на койке в застиранном больничном одеянии. Жена кинула мне в окошко какое-то очень наивное стихотворение, написанное ею. Оно у меня не сохранилось и содержание его я забыл, но хорошо помню, что оно начиналось словами: «Когда мы в постели лежали».

Было много хлопот с добыванием мыла для сына и стирки пеленок. Вместе с курсантами я ходил в баню и там собирал обмылки. Вычитав где-то, что можно варить мыло из электролита для заливки аккумуляторов, мы с женой сварили такое мыло, и она попробовала вымыть себе лицо, а потом целую неделю лечилась, так как сожгла кожу. Подгузники и пеленки мы делали из старых негодных карт, наклеенных на полотно. Пригодилось и рваное курсантское белье, которое я доставал в каптерках училища. Курсанты, любившие нас с женой, добывали на кухне и в столовой училища, правда, без моего ведома, посуду необходимую для ухода за ребенком.

В заботах о своем первенце я настолько овладел тонкостями врачевания детей, что у меня даже консультировались мамы-роженицы, которых было немало в училище. Сынок мой с большой жадностью сосал грудь и высасывал много молока, которое у жены было в избытке и она его даже сцеживала. Молока сынок выпивал много, но как правило почти тотчас же после кормления срыгивал и даже начал худеть. Врачи, не один раз осматривавшие его, не могли понять, в чем дело, а я понял. Оказалось, он вместе с молоком заглатывал много воздуха и затем вместе с воздухом выходило обратно и молоко. Стоило начать держать ребенка торчком после каждого кормления, то есть вертикально, и отрыгивание молока сразу прекратилось - сынок начал быстро поправляться и прибавлять в весе.

Я прекрасно научился по цвету экскрементов не только определять состояние его здоровья, но даже его настроение, а изучать их цвет я имел полную возможность, так как каждую свободную минуту старался использовать для стирки его пеленок.

И все-таки намерение попасть на фронт не покидало меня - с ним я засыпал, с ним просыпался. Как почти всегда в моей жизни мне и на этот раз помог случай. Как-то мне попала на глаза старая газета со списком награжденных орденами и медалями в войне с белофиннами, и в этом списке я нашёл фамилию Иоффе Михаила Фадеевича, которого я знал как перспективного слушателя военной электротехнической академии им. Будённого ещё в 1932-1937 годах. Он тогда обучался в одной из групп, где я читал лекции не то по теории переменных токов, не то по курсу «передвижные электрические станции». Я каким-то образом узнал его адрес и послал ему письмо. В ответе на мое письмо он обещал помочь в осуществлении моего намерения. Заручившись этим обещанием, я начал просить начальство училища командировать меня в Москву с каким-либо поручением, имея тайной целью похлопотать там об отправке меня на фронт. Такая командировка мне была дана. Я был убежден в том, что в Ульяновск уже не вернусь и прямо из Москвы поеду на фронт, и поэтому до отъезда в Москву отправил жену с сыночком к ее сестре в Куйбышев.

И сейчас вижу перед своими глазами палубу волжского парохода и на ней мою юную жену со спящим двухмесячным сыном на руках. Личико сына было абсолютно безмятежно и спокойно. Эту картину я часто вспоминал на фронте и от этого воспоминания наступал покой на душе и на сердце, появлялась вера в счастливое будущее, проходила усталость и росла ненависть к врагу. Когда пароход отчалил от пристани я долго смотрел на его отдаляющиеся огни. Сердце сжималось от дикой боли, вызванной разлукой с самыми дорогими для меня людьми, но я ни тогда, ни после ни разу не пожалел о том, что отправился на фронт.

От начальника училища, товарища Моисеенко, знакомого мне более или менее основательно ещё по службе в Киеве, я получил ряд поручений, относящихся к управлению связи Красной Армии, и одно поручение неофициальное - привести мешок картошки бывшему начальнику училища Щадринскому. Последний работал в Москве в управлении кадров Красной Армии у Щаденко. Все эти поручения мне надлежало выполнить совместно с преподавателем радиотехники Казамановым, с которым мы ехали вместе. С Андреем Казамановым я дружил не столько по родству душ, сколько по стечению обстоятельств. Мы одновременно прибыли в училище, до получения квартир жили в гостинице и оттуда вместе ходили по утрам на работу, а вечером часто вместе и возвращались. Андрей рассказывал, что его исключили из партии за то, что, будучи курсантом военного училища связи, он однажды по политической незрелости попал вместе с другими курсантами на нелегальное собрание троцкистов. Тогда этому никто не придавал значения, но в 1937 году по чьему-то доносу об этом вспомнили, и Андрея, помимо исключения из партии, сняли с должности адъютанта начальника управления Красной Армии Шулейкина. После ряда служебных неурядиц Андрея по его просьбе назначили преподавателем радиотехники в Ульяновск.

Преподаватель он был хороший, а политически был не особенно сведущ. Отличался исключительной предприимчивостью, в чем я убедился по приезде с ним в Москву. Да и в Ульяновске после рождения сына я зачастую прибегал к его практичным указаниям по части доставания тех или иных продуктов или решения различных хозяйственных вопросов.

До Москвы мы доехали, примерно, так же, как ездили в мирное время. Железная дорога работала образцово. Из дорожных бесед с пассажирами, уже побывавшими на фронте, я уразумел, что самые жестокие бои в ближайшее время развернутся под Сталинградом, и поэтому приехал в Москву с готовым решением добиваться назначения в часть, воюющую на юго-западном фронте, то есть под Сталинградом. В Москве, выполнив поручения начальника училища в управлении связи Красной Армии и убедившись, что в частях связи мне едва ли можно рассчитывать на активное участие в войне, я направился в отдел кадров инженерных войск.

Начальником отдела кадров оказался товарищ Пожаров. Понтонёр по своей специальности, служивший под Ленинградом, он в молодости несколько раз бывал в лагерном сборе на Трухановом острове в Киеве вместе с батальоном, в котором он был, помнится, командиром роты. Он сразу узнал меня, выслушал, согласился с моими доводами, и в тот же день без проволочек я получил направление в 16-ю отдельную инженерную бригаду специального назначения, действующую на юго-западном фронте, которой как раз и командовал Михаил Фадеевич Иоффе.

В Москве я жил вместе с Андреем Казамановым в семье его старшей сестры. Муж сестры работал где-то на химическом складе, имел доступ к спирту, и Андрей сразу по приезде в Москву развернул бурную деятельность по добыче продуктов для своих родственников (кроме сестры в Москве у него был ещё и старший брат с семьёй). Звоня по телефону на какие-то базы, он предупреждал, что сейчас к ним прибудет за продуктами "для адмирала Геллерта его адъютант Казаманов Андрей", и действительно привозил с этих баз различнейшие продукты и, в частности, папиросы, что меня особенно интересовало. Обеспечил он нас двоих и весьма привлекательными москвичками, которые одухотворяли наши обеды и ужины. При желании можно было в их обществе скоротать и ночи, но я, несмотря на мою испорченность, категорически отказался от адюльтера, в отличие от осуждавшего меня за это Андрея. Я же был полон мыслями о жене и сыне и прямо-таки физически страдал от разлуки с ними.

Итак, моя мечта воевать с немцами прямо и непосредственно, а не путём преподавания электротехники курсантам-связистам, стала наконец осуществляться. Теперь, когда у меня на руках было назначение в Действующую армию, я сел за письмо, чтобы объяснить самому близкому человеку - своей жене, почему я так поступил. Мне ещё не было сорока, нервы у меня были достаточно крепкие, но всё же я несколько раз пролил слезу над письмом. Жалею, что оно не сохранилось. Мне бы хотелось, чтобы его прочитал мой сын, моя дочка и моя внучка, когда она вырастет. В этом письме было выражено моё политическое, моральное и этическое кредо. Впервые в жизни я так искренно и полно пытался осмыслить и осветить столь важные для меня вопросы.

Я рвался на фронт, ибо категорически не мог примириться с тем, что мне не дадут защищать мою самую справедливую, самую передовую в мире страну прямым и непосредственным образом, то есть лично в боях с врагом. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне хочется не столько объяснить другим, сколько понять самому, как это я мог абсолютно искренне считать мою страну справедливейшей в мире, когда на каждом шагу я наталкивался на факты, опровергавшие всякую справедливость, когда вокруг подвергались репрессиям ни в чем не повинные люди, когда я сам был исключён из партии и затем изгнан из армии на основе ложных, глупых и диких обвинений, когда по таким же вздорным и нелепым обвинениям мой младший брат оказался в тюрьме всерьёз и надолго. Могу объяснить это только тем, что моя страна, как я считал и считаю, руководствовалась в основе своей столь мудрыми и гуманными, столь чистыми и светлыми идеями марксизма-ленинизма, что несправедливости, творимые буквально на каждом шагу, расценивались мною как что-то временное и случайное, и отнюдь не закономерное.

Я рвался на фронт и потому, что не мог представить себе как я буду смотреть в глаза моему сыну, моей жене и, наконец, вообще людям после войны, если не буду лично и активно участвовать в ней.

Я писал о своей уверенности в победе моей страны над немецкими фашистами. Это были не пустые слова. Действительно, с самого начала войны у меня ни разу не возникало мысли, что мы можем потерпеть поражение. Сталина я не любил, но слова «наше дело правое – мы победим», были и моими словами, сказанными раньше него. Впрочем, я допускал, что нам придётся

отступать даже дальше, чем мы действительно отступили, может быть, до Урала, но я никогда не верил в победу врага. Уверенность в том, что мы разобьём немецкий фашизм наголову, непоколебимо жила во мне с первого дня войны.

Пока я писал это письмо, передо мной стоял образ моей жены, совсем ещё хрупкой девочки, со спящим сыном на руках... — когда я последний раз поцеловал его, он вдруг проснулся и горько заплакал, хотя не был плаксою. Идя с письмом по улице к почтовому ящику, я перебирал в памяти все события своей жизни за первый год войны. Моё желание оказаться на фронте осталось непоколебимым, хотя я насмотрелся на московскую номенклатуру, добравшуюся на своих и на учрежденческих, легковых и грузовых автомашинах аж до Ульяновска, и хотя я достаточно наслушался от участников нашего отступления до Москвы и Ленинграда о хаосе, бестолковости, подлости, трусости и предательстве, царивших тогда на фронте.

И когда я читаю об обстоятельствах, обусловивших нашу победу, я всегда мысленно говорю себе: «Мы не могли не победить. Если уж я, много напутавший в жизни, совершивший много ошибочных поступков, вёл себя должным образом, то как же самоотверженно и праведно вели себя люди более достойные, чем я».

Покидал я Москву уже как человек, порывающий с тылом. Москва в конце июля 1942 года меня порадовала. Все, с кем я там сталкивался, работали спокойно и чётко. Я без всякой канители получил проездные документы и продукты на дорогу. Чистота на улицах столицы, открытые магазины, наконец, встречи и разговоры с одним коллегой по киевскому Политехническому институту, который я в свое время закончил, а также с одним товарищем по службе в Киеве в 30-ые годы прямо и косвенно создали у меня убеждение, что наши тылы, далёкий и ближний, находятся теперь в надлежащем порядке. «Надо только хорошо воевать», - твердил я себе.

На Павелецком вокзале я расстался с Андреем, который получил назначение на Западный фронт, и отправился поездом в Саратов. Поглядывая через вагонное стекло на пробегавшие мимо леса и деревеньки, я пытался представить себе, как же я буду воевать. Поскольку в общих чертах мне было уже известно, что бригада, в которую я еду, имеет, кроме частей, предназначенных для подрывных работ, то есть минирования и разминирования, также электротехнический батальон, располагающий электризованными малозаметными препятствиями, я решил добиваться назначения именно в этот батальон, поскольку считал себя специалистом как по передвижным электрическим станциям, так и по вопросам электризации различных проволочных заграждений. Ещё в бытность адъюнктом электротехнической академии я всерьёз занимался темой электризованных препятствий в обороне и наступлении, и теперь, сидя в купе, настолько погрузился в размышления о том, как я лично буду применять эти средства в борьбе с немцами, что не участвовал в разговорах, которые буквально кипели вокруг. А попутчики у меня были интересные. Особенно запомнился зам.командующего армией по тылу, побывавший на Кавказе. Очень уж он напирал на то, что он зам командующего армией, хотя тут же добавлял: «по тылу». Впоследствии я убедился, что эта черта присуща всем зам командующим по тылу, с которыми приходилось встречаться. Ехала с нами и весьма привлекательная, молодая особа, с явными, несмотря на молодость, чертами бывалости. Хотя я впервые ехал на фронт, я решил, что это одна из ППЖ (*походно-полевая жена - И.К.*), о которых был уже достаточно наслышан, причём на уровне дивизий. Через несколько месяцев моя догадка подтвердилась. Я встретился с ней в землянке одного из командиров дивизии, которую я обеспечивал минированием при наступлении на Сталинград в составе 65 армии.

Железная дорога от Москвы до Саратова работала не так чётко, как от Ульяновска до Москвы. Помещения станций и полустанков были переполнены просящими милостыню ранеными, причём – подчас какого-то жуткого вида. Из таких раненых запомнился один, ходивший с обнажённой левой рукой, представлявшей собой кости, обтянутые серой кожей, и другой, сидевший у входа на станцию, с обнажённой, без мускулатуры, высохшей ногой. Скорее всего, это были просто калеки и нищие, маскирующиеся под раненных на фронте.

В Саратове я сел на пароход, уже мысленно определив свою роль в бригаде Михаила Фадеевича в качестве электрика, и не сомневался, что он, сам военный инженер-электрик, меня поймёт и поддержит. На пароходе я с беспокойством размышлял о том, смогу ли по-настоящему выполнять продуманную мною роль на фронте. Я не сомневался в своей профессиональной подготовленности, равно как и в наличии у меня качеств, присущих настоящему фронтовику. Беспокоило другое: после того, как меня исключили из партии и выгнали из армии, у меня начались дикие головные боли. Эти головные боли в ульяновском училище связи достигли буквально ошеломляющей силы. Особенностью их было то, что они исчезали на время, пока я читал лекции. Когда после десяти часов лекций я приходил домой, моя молодая жена туго-претуго стягивала мне голову полотенцем, давала какое-то лекарство, и только тогда я мог существовать. Утром я просыпался с головной болью, с головной болью приходил в класс, с головной болью здоровался с курсантами — и так, пока не начинал лекцию...

Когда пароход приближался к одной из последних пристаней перед Сталинградом, в районе Камышина, и я увидел истерзанные трупы людей, плывущие по Волге, причём, на некоторых из них были остатки бинтов, моя голова стала болеть несколько меньше. Боль стала ещё меньше, когда я узнал, что увиденные мною трупы — результат бомбёжки парохода, везшего наших раненых с фронта в тыл. Боль ещё значительно поубавилась, когда наш пароход плыл мимо горячей после бомбёжки немецкими самолётами нефтяной башни. Головная боль исчезла у меня полностью, когда пароход уже возле Сталинграда обстреляли два мессершмидта. Боль исчезла всерьёз и надолго. Она возобновилась только в 1946-м, через год по окончании войны.

А те два мессершмидта в несколько заходов обстреляли нас при пикировании из пушек и пулеметов и сбросили бомбы. Честно говоря, меня всё это не испугало — я надеялся, что в случае гибели парохода я все равно выплыву на берег, а в то, что я буду поражён бомбой или пулей, я не верил. Между тем на пароходе поднялась паника. Но я и в этот раз, как и в далёкой молодости, чувствовал себя спокойно. Отчасти благодаря умелым маневрам капитана, отчасти из-за того, что немецкие самолёты, как видно, имели небольшой боезапас и быстро улетели, наш пароход избежал гибели.

Сталинград был тревожно оживлён. По улицам проезжало много грузовых и легковых автомашин и проходило большое число военных самых различных родов войск. Расспрашивая военных с чёрными петлицами, я разыскал штаб инженерных войск, а затем и отдел кадров. В отделе кадров я столкнулся с Медковым, знакомым мне еще по службе в 3-м понтонном батальоне. Медков был понтонёром ещё в царской армии и считался в батальоне профессором понтонного дела, однако дальше должности командира взвода не мог продвинуться из-за своей невиданной малограмотности, которую, несмотря на помощь сослуживцев, он не мог преодолеть из-за своих преклонных лет. Медков поведал мне горькую историю отступления от Киева до Сталинграда. Выглядел он крайне утомлённым и морально подавленным. Он пришёл просить об откомандировании его в тыл.

В отделе кадров меня, не теряя ни минуты, назначили, как я и рассчитывал, на вакантную должность начальника отделения электризованных препятствий в бригаду М. Ф. Иоффе. Офицер связи бригады, находившийся в штабе инженерных войск, сказал, в бригаде обо мне уже знают, и что он отвезёт меня в её расположение на полutorке. Я погрузил свой немудрёный багаж на полutorку, и мы двинулись в Дубовку на север от Сталинграда, где дислоцировался штаб бригады.

К вечеру я был уже на месте. Первым человеком, с которым я беседовал в бригаде после офицера связи, был начальник технического отдела штаба бригады Н. А. Бузгалин. Он ввёл меня в курс дел, которыми предстоит заниматься в ближайшие дни, и посвятил меня в положение бригады. Оказалось, что бригада во время отступления серьезных боевых действий не вела, растеряла много людей и сейчас, по-видимому, будет отведена на пополнение людьми и формирование. Бузгалин, по званию, кажется, военинженер второго ранга, произвёл на меня хорошее впечатление ясностью ума и простотой общения и порадовал, сказав, что в бригаде много воспитанников Ленинградской электротехнической академии им. Будённого, начиная с командира бригады майора Иоффе и его заместителя майора Харченко. Последних при моём приезде в штабе

не было — поехали в части бригады, но по словам Бузгалина, они меня ждут, так как бригаде необходим инженер моей специальности.

Спать я улёгся в помещении технического отдела бригады, размещённого в школе, но до того еще успел познакомиться со своими подчинёнными: офицерами Городецким и Криштулом. Городецкий, рафинированный интеллигент, сын профессора, у которого я учился в Киевском политехническом институте, преподавал в том же институте. Для войны он явно был непригоден по ряду причин, одной из которых, как после я узнал, было его чрезмерное тяготение к гомосексуализму. Вскоре после моего вступления в должность он, по-видимому, благодаря хлопотам отца, был отослан с фронта в тыл и исчез где-то в его пучинах. Криштул был знающим инженером — он попал в Действующую армию в Киеве, но во время отступления до Сталинграда так и не нашел себе достойного применения. Во время переезда по железной дороге, он попал под бомбёжку и при этом осколок бомбы порвал рукав его стёганой телогрейки. Хотя в этой бомбёжке Криштул не был ранен, он при всяком удобном и неудобном случае рассказывал всем о ней и демонстрировал свою телогрейку.

Наутро командир бригады пригласил меня к себе. После моего представления Михаил Фадеевич предложил вместе позавтракать. Во время завтрака, к которому адъютант Иоффе подал водку, у нас завязалась оживленная беседа. Иоффе сказал, что рад моему появлению в бригаде, и что я приехал весьма удачно, так как бригада выводится в резерв для окончательного формирования. Эту передышку надо будет максимально использовать для обучения состава бригады предстоящим боевым действиям.

Михаила Фадеевича, с которым я расстался, когда он, отлично защитив свою дипломную работу, получил назначение в Ленинградский военный округ, я не видел около пяти лет. За это время он заметно изменился. Его стройная фигура явно отяжелела, а лицо жгучего брюнета с выразительными, подвижными и густыми бровями, стало ещё более мужественным и решительным. Умением придавать своему лицу вдумчивое, решительное и грозное выражение он мне напоминал начальника инженерных войск А. Ф. Хренова, под руководством которого Иоффе воевал в войне с белофиннами и от которого, как видно, много перенял. Хренов, в общем-то весьма стоящий и способный начальник, зачастую допускал несуразные поступки и нередко вёл себя по-хамски. Однако ушёл я от Иоффе в свой технический отдел вполне удовлетворённым, понимая, что буду воевать под началом надёжного, грамотного и добросовестного командира.

На следующий день штаб бригады со всеми своими тылами выехал из Дубовки и, переправившись через Волгу с правого берега на левый, расположился в лесу у прибрежных кустов, передвинувшись ближе к Сталинграду, в район возле Ахтубы. Мне и Криштулу была отведена в лесу уютная полуземлянка со столом и земляными лежанками для постели, с крышей и стенами, надёжно защищавшая от непогоды. Криштул занимался своим давнего происхождения изобретением – конденсатором, от которого можно было прикуривать. Тогда мы испытывали довольно значительные трудности со снабжением, в том числе и спичками, и Криштул надеялся ликвидировать эту проблему. Впрочем, вскоре он также был куда-то откомандирован, и что стало с его конденсатором, мне неизвестно.

Я же занялся ознакомлением с частями бригады. Прежде всего, я пошёл налаживать отношения с электротехническим батальоном, чье основное назначение было устранять электризованные малозаметные препятствия.

Командир батальона был мало примечательной личностью в звании, кажется, старшего лейтенанта. Зато своим своеобразием выделялся комиссар батальона. Моряк в прошлом, он вмешивался во все дела батальона: часто бывал на кухне, непрестанно проверял, как идут занятия в ротах, следил за складским хозяйством батальона. Суетился он сверх всякой меры и своей инициативой явно подавлял командира батальона. Очевидно, не без его помощи командир батальона был вскоре арестован — как говорили, за слушанье по радио немецких передач, и исчез из бригады. Его место занял комиссар батальона, явно стремившийся к этому. Иоффе, благодаря которому состоялось это назначение, понял свою ошибку значительно позже и прогнал из бригады этого морячка.

Более сильными, чем командование батальона, были командиры рот, и поэтому я за состояние батальона был в известной мере спокоен.

Следующим подразделением, с которым я считал необходимым поближе познакомиться, была рота по электрификации работ. Она располагала несколькими передвижными электростанциями обычного напряжения для снабжения электроэнергией электрифицированных инструментов и осветительных приборов, в частности прожекторов. Ротой командовал инженер киевлянин Е. Б. Стессель. Невысокий, щуплый, подтянутый командир создал хорошо организованные подразделения. Состав роты был хорошо обучен, дисциплинирован и содержал в должном порядке и постоянной готовности всё имеющееся в роте электрооборудование. Роту Стесселя можно было незамедлительно использовать для освещения больших штабов, для выполнения мостовых работ с помощью электрифицированных инструментов и других работ, таких как быстрая прокладка просек в лесу и тому подобное.

Столь же подготовленной были и рота специального минирования, которая имела аппаратуру установки мин, взрываемых на значительном расстоянии по радиосигналам. Ротой командовал воспитанник ульяновского училища связи товарищ Ю. М. Пергамент, окончивший его еще до моего прибытия в это училище, когда оно называлось УШОТ (ульяновская школа особой техники).

Может быть, по той причине, что работа роты носила засекреченный характер, она была укомплектована весьма основательно, располагая дисциплинированным, хорошо обученным рядовым, младшим командным и средним командным составом. Командир роты Пергамент, комиссар роты М.М. Боймельштейн, помощник командира роты М.Ш. Меламед имели значительный боевой опыт. Кстати, от них я узнал, что взрыв Успенского собора в Киево-Печорской лавре, взрыв ряда зданий на Крещатике после занятия Киева немцами, дело их рук, а не немцев, как продолжают и сейчас писать в различных литературных источниках. Они являлись творцами взрыва и в доме, который до прихода немцев в Харьков занимал Н. С. Хрущёв.

Изучив уже накопленный опыт использования электротехники на войне и познакомившись с немногими письменными материалами в штабе бригады, я пришел к выводу, что электризованные малозаметные препятствия не имеют такого значения, какое мы им придавали в электротехнической академии. Далеко не случайно, что немцы совершенно не применяли на войне электротехнику как средство поражения. Сделав этот вывод, я стал усиленно изучать мины – наши и немецкие – и способы минирования и разминирования.

Из немецких мин, которые, примерно, до 1943 года были только металлическими, я обратил особое внимание на прыгающую противопехотную мину. Эта мина, представляла собою металлический цилиндр и имела с одной стороны трубку, из которой торчали три жёстких усика (к ним можно было привязывать тонкую проволоку). Мина зарывалась в землю так, чтобы три жёстких конца были заподлицо с землёй. При нажатии на них мина выскакивала из земли и на высоте, примерно, два метра, взрывалась и поражала картечью (в ней было до 500 картечей) живую силу. Насколько мне известно, у нас таких противопехотных мин не было до конца войны.

По инициативе командования бригады я вместе с Бугалиным занялся вопросом создания мины, в какой-то мере заменяющей прыгающую немецкую мину. Конечно, речь шла о мине, которую мы могли сами придумать и изготовить из имеющихся в бригаде средств. И мы такую мину создали. Делалась она так: в земле вырывалась цилиндрическая яма, на дно ямы клалась толовая шашка, в нее вставлялся электродетонатор мгновенного действия, две проволоки которого выводились на поверхность земли. На толовую шашку клалась доска по диаметру ямы, на доску ставился артиллерийский снаряд того или иного калибра, в него вставлялся электродетонатор замедленного действия, две проволоки которого тоже выводилось на поверхность земли. Всё это сооружение плотно утрамбовывалось, проволочки же электродетонаторов соединялись параллельно, и к ним подводилось два провода, по которым мог подаваться ток от сухих элементов, аккумулятора или подрывной машинки.

Созданную нами мину, несравнимо более мощного поражающего действия, чем немецкая, и не только выпрыгивающую из землю, но и управляемую, так как её можно было взрывать по желанию со значительного расстояния, мы решили испытать на практике. Вместе с несколькими минёрами и с соответствующим оборудованием я и Бузгалин пошли в степь, подальше от прибрежного леса, где, кроме, нас стояла какая-то авиационная часть. В степи мы быстро собрали нашу мину и привели в действие. Эффект был потрясающий. Снаряд взорвался на высоте, примерно, двух метров. Мы оба видели, как он выскочил из земли, но к мгновению взрыва уже лежали, прижавшись к земле, и таким образом остались невредимы.

Возвращались мы с чувством удовлетворения от своих достижений, однако хорошее настроение было испорчено жестоким зрелищем, свидетелями которого мы оказались. Два немецких мессершмидта, преследуя наш истребитель, расстреляли его и подожгли, а когда из горящего самолёта выпрыгнул на парашюте лётчик, они хищнически расстреливали его до тех пор, пока он, уже бездыханный, не достиг земли. Я видел такое впервые, и картина гибели нашего лётчика долго терзала меня.

Итак, я окончательно пришел к выводу, что в предстоящих боевых действиях нам предстоит заниматься минированием и разминированием и по примеру моторизованной инженерной бригады И. Н. Гурьева комбинировать малозаметные электризованные препятствия с минами, а потому стал уделять гораздо больше внимания батальонам минирования. Таких батальонов в бригаде было, кажется, восемь. В них шла настойчивая работа по обучению личного состава, и я сам часто присутствовал на занятиях, даже не столько как представитель штаба бригады, сколько как изучающий сравнительно новое для меня минное дело. Не помню, в каком батальоне, я стал свидетелем поразительного занятия на тему «противопехотные мины, наши и немецкие». Его на лесной полянке проводил младший лейтенант. Он весьма толково говорил о минах, демонстрировал их устройство, способ вставления в мины взрывателей с детонаторами и т.д. Когда младший лейтенант дошёл до нашей мины ПМДЦ (противопехотная мина, деревянная, целая), в которую вставляется 75-граммовая толовая шашка, он заявил: «Если на такую мину наступить, она не приносит большого вреда. Обычно дело ограничивается тем, что у сапога наступившей ноги отрывается каблук. Я надел сапоги, предназначенные к выбросу, и вам это продемонстрирую». С этими словами он наступил на мину, и она, естественно, взорвалась, испугав минёров. Младший же лейтенант торжественно показал слушателям оторванный каблук.

После занятия я посоветовал ему больше не прибегать к такому "натурализму", так как добром это не кончится. К сожалению, я оказался прав. Как мне рассказывали, на одном из последующих занятий этот же младший лейтенант, объясняя минёрам устройство противотанковой мины, после слов «эти мины надёжно переносят вес человека и, если на них наступить, то они не взрываются», встал обеими ногами на мину, и она... взорвалась. При этом погиб сам преподаватель, несколько минёров были убиты, а многие ранены.

Находясь в непродолжительном резерве, бригада тем не менее продолжала участвовать в боевых действиях Юго-западного фронта, отступающего к Сталинграду. Я видел, что время от времени на передний край для выполнения каких-то заданий выезжали майор Харченко и другие командиры штаба. 22 августа наступила очередь выехать в зону боевых действий и мне. Меня вызвали в штаб бригады и сообщили, что я назначен начальником оперативной группы бригады, обеспечивающей действия батальона Ванякина в 62-й армии и батальона Ляшенко в 64-й армии. Я получил основательные указания от начальника штаба Тихомирова, начальника технического отдела Бузгалина и работников оперативного отдела Чупанка, Голуба и Асонова. Указания сводились к тому, что 23 августа во второй половине дня я должен выехать с поступающими в мое распоряжение работником штаба Драгинским и работником отдела снабжения Шаломовым в Сталинград. В Ахтубе, поселке на левом берегу Волги напротив Сталинграда, на пристани меня встретит начальник отдела снабжения бригады и даст мне документы для получения артснарядов и толовых шашек, предназначенных для изготовления самодельных управляемых мин. В

Сталинграде в штабе инженерных войск фронта я найду представителя бригады, заместителя командира бригады Харченко, и получу от него уточняющие распоряжения и указания по работе оперативной группы. После начала работы оперативной группы я должен немедленно доложить об этом Начинжу 62-й армии Грачеву и Начинжу 64-й армии Бордзиловскому. Меня также поставили в известность, что батальон Ванякина расположен в районе тракторного завода на северной окраине города, а батальон Ляшенко в районе поселка Бекетовка на южной окраине города.

В указанное время я со всем составом опергруппы приехал на полutorке на пристань Ахтубы. Еще издали мы услышали непрерывные разрывы бомб а затем увидели клубы большого столба дыма над Сталинградом. Оказалось, что немцы подвергли город мощной авиабомбежке — они уже разрушили и подожгли многие здания города, в том числе громадные баки с горючим на берегу Волги.

Начальника отдела снабжения бригады мы на пристани не нашли. Впоследствии он мне объяснил, что в самом начале бомбежки он решил уехать подальше, полагая, что в горящий Сталинград, под бомбы немецкой авиации, никакой дурак не поедет. Но наша опергруппа поехала. После 20 лет жизни в мирных условиях я вспомнил истины, усвоенные в молодости, в Гражданскую войну, и без колебаний решил переправляться в Сталинград, чтобы выполнить полученные приказания. Это решение я принял вопреки возражениям со стороны Драчинского и Шаломова.

Легко сказать - переправиться, но как и на чем? Немцы бомбили не только город, они бомбили и обстреливали каждую лодку, появляющуюся на Волге. Капитан маленького буксирчика после долгих уговоров наконец согласился перевезти нашу опергруппу и еще несколько военных, у которых были неотложные дела в городе. Капитан оказался стреляным морским или речным волком и, как видно, стреляным уже немцами — только благодаря его бесстрашию и умелым действиям мы сошли на пристань Сталинграда целыми и невредимыми. Он то тормозил свое судно, то рывком бросал вперед, то вихлял вправо или влево и сумел-таки обмануть немецких летчиков — ни одна из сброшенных ими бомб не попала в цель, то есть в нас.

С пристани уже в наступивших сумерках мы направились в город в штаб инженерных войск, предварительно разделившись, чтобы не быть пораженными одной бомбой. Шли по одному, не теряя друг друга из виду, впереди — Шаломов как хорошо знающий город и местонахождение штаба. У первого же дома начавшейся улицы, точнее у его догорающих развалин, я увидел не менее десятка обгоревших трупов мужчин и женщин, уложенных рядом друг с другом вдоль одной из стен. У трупов огнем были обезображены не только лица и конечности, но и туловища — уцелели только половые органы и прилегающие к им небольшие участки кожи. Помню, что при этом ужасающем зрелище меня посетила дикая мысль: "Если бы каким-то образом оживить этих людей, то они были бы способны только размножаться".

Улица горела с двух сторон, и было не очень понятно, чего больше опасаться — самолетов, которые продолжали сбрасывать на нее бомбы, или охваченных огнем домов, мимо которых мы шли. У одного большого горящего здания я увидел в свете пожара хорошо одетых интеллигентного вида женщину и мальчика лет десяти. Мальчик, подняв ко мне свое бледное личико, сказал:

- Дяденька, спасите нас.

- Для спасения, милый, нужно идти к Волге и переправляться на другой берег. Мне же в другую сторону, к фронту. У меня приказ... - Это все, что я мог ответить.

Далее навстречу мне попала повозка, запряженная одной лошадей. За спиной красноармейца, державшего вожжи, сидели два связанных по рукам и ногам немецкие военнопленные. По их лицам было видно, что они насмерть перепуганы пожаром города. У немцев был настолько жалкий вид, что я не испытал даже намека на ненависть к ним. Красноармеец объяснил, что везет пленных к переправе для эвакуации в тыл.

Штаба инжвоек в домах, где он размещался, мы не нашли, как не обнаружили и самих домов. Они были деревянные и до нашего прихода успели полностью сгореть. Зато рядом с ними каким-то чудом уцелел довольно большой дом, у которого в обстановке неистойвой бомбежки с самолетов я с помощью одного красноармейца-пехотинца прошел полный курс науки спасения от авиабомб. В точности повторяя действия моего инструктора, я на собственном опыте убедился, что надо опасаться не бомб, сброшенных самолетами у тебя над головой, а только тех, что сброшены впереди тебя, и в этом случае надо изо всех сил бежать им навстречу, чтобы они разорвались у тебя за спиной. Понял я, и за какой стеной дома, в зависимости от полета бомб, следует прятаться, прижимаясь к земле.

Когда в бомбежке наступила пауза, я после краткого совещания с Драчинским и Шаломовым решил двигаться вдоль западного берега Волги на Тракторный завод. Не доходя до переправы через Волгу, мы увидели у берега густую толпу военных и гражданских, ожидающих парома, и колонну автомашин с горючим. Неожиданно снова налетели немецкие юнкеры и с большой высоты сбросили прямо в это скопление людей и машин несколько тяжелых авиабомб. Автомашины с горючим загорелись, осветив ужасную картину гибели сотен людей...

До Тракторного завода по западному берегу мы так и не добрались, поскольку вскоре опять напоролась на пожары, вызванные возобновившимися яростными бомбежками. Легче было вернуться на восточный берег, добраться по нему до места напротив Тракторного завода и уже оттуда еще раз форсировать Волгу. Так мы и поступили. Переправившись через Волгу на подвернувшейся лодке, мы на полуторке доехали до намеченного места второй переправы на западный берег. Там я написал донесение в штаб бригады о злоключениях опергруппы и послал с ним Драчинского, а сам с Шаломовым на рассвете 24 августа на добытой лодке снова отправился на другую сторону. Все шло хорошо, пока уже недалеко от берега на нас не налетел мессершмидт. И тут нам повезло. С первого захода, обстреливая нас из пулемета, летчик промахнулся, а делая разворот для второго пикирования, он попал в зону огня "катюши". Очевидно, летчик мессершмидта испугался этого огня и, оставив нас невредимыми, улетел.

Счастливая развязка заставила меня теплым словом вспомнить Ивана Исидоровича Гвая, инженера-конструктора - автора этого замечательного миномета. Гвай был моим надежным другом и доброжелателем с конца 1932 года по день своей преждевременной смерти в 1960 году. Мне кажется, что в истории изобретения миномета М - 30 (БМ-13), любовно называемого "катюша", многое упущено и забыто, а может быть, даже искажено. Я лично уверен, что имею косвенное отношение, если не к самому изобретению "катюши", то к включению Ивана Исидоровича Гвая в число ее изобретателей. В 1933 - 1937 годах я с ним работал в научно - исследовательской группе при энергетическом факультете военной электротехнической академии им. Буденного в Ленинграде. Я - в качестве военнослужащего-адъюнкта академии, он - в качестве вольнонаёмного инженера-конструктора. Я занимался вопросами электризованных препятствий и электризации почвы, он - механизацией установки малозаметных препятствий.

По ходу всерьез увлекшей меня работы по электризации почвы я столкнулся с вопросом выбрасывания длинных металлических тросов на землю, к которым надлежало подавать высокое напряжение. Мы с Гваем пришли к выводу, что для этого нужно использовать пушки, наподобие тех, с помощью которых китобойи выбрасывают тросы с гарпунами при охоте на китов. Учитывая, что Гвай по образованию был механиком, я попросил его заняться темой выбрасывания тросов, для чего отправиться на какое-либо китобойное судно. Когда он дал своё согласие, я добился у начальства командирования его, кажется, на Дальний Восток в китобойную флотилию. По возвращении Гвай занялся технологией сматывания металлических тросов в бухты, чтобы при выбросе тросы не имели скруток, то есть оставались токопроводящими.

Пока он отрабатывал этот вопрос, мне, очевидно, на основе воспоминаний из моего детства, когда на праздники в небо запускались петарды, пришла в голову мысль воспользоваться для выбрасывания тросов не пушками, а ракетами. Иван Исидорович, вообще говоря, человек, быстро воспринимающий любые новые идеи, тут же занялся изучением ракет. Занялся, как видно, настолько серьёзно, что после того, как я был исключён из партии и уволен из армии, а он как беспартийный и вольнонаёмный отчислен из армии, он уехал в Москву и поступил в Ракетный институт, где в итоге и изобрёл «катюшу».

Всё дальнейшее о Гвае я пишу с его слов, которые слышал от него лично после войны. Не мне судить, точно ли он изложил всё то, что пережил после 1937 года, но я всегда верил Гваю полностью и целиком. Показав мне два диплома, подписанные И. В. Сталиным, выданные ему как лауреату Сталинской премии за «катюшу» и за установку ракет под крыльями самолётов, он мне поведал следующее.

Поступив в Ракетный институт, Гвай сразу же начал разработку пускового устройства для реактивных снарядов. А. Г. Костиков, главный инженер этого научно-исследовательского института, видя, что его сотрудник успешно решает поставленные перед собой задачи, убедил Гвая включить его и одного снабженца в качестве соавторов конструкторских идей. Своё предложение он мотивировал тем, что реализовать изобретение в одиночку, по сути дела, невозможно, и Гвай, будучи человеком весьма бесхитростным, согласился из автора превратиться в соавтора. Кстати говоря, я знал и Костикова — одно время учился вместе с ним в Киевском военном училище связи, которое я закончил раньше срока, сдав экстерном все положенные экзамены.

После появления соавторов дело с реализацией изобретения быстро двинулось, и «катюши» были изготовлены и опробованы ещё до войны. Когда на фронтах Великой Отечественной оба изобретения Ивана Исидоровича Гвая показали себя как мощное оружие в борьбе с немцами, Сталин приказал познакомить его с самими изобретателями. В качестве таковых ему представили Костикова. На вопрос Сталина «кто автор?» Костиков ответил, что авторов трое: кроме него — Гвай и ещё один товарищ (*В.В.Аборенков - И.К.*). А на вопрос «А кто главный?» Костиков ответил, что он. В заключении приема Сталин сказал Костикову: «Вы получите Золотую звезду Героя Социалистического труда, Гвай - орден Ленина, а третий товарищ – орден Отечественной войны первой степени» (*Красного знамени? - И.К.*).

После получения наград Гвай и Костиков разошлись. По этой причине их даже вызывали в ЦК КПСС, но и они так не смогли наладить отношения. Спустя какое-то время Костикова как "автора «катюши»" вызвали в политбюро ЦК КПСС и поручили разработать средство в противовес ФАУ-2, которыми немцы забрасывали Лондон. Задание Костиков взял, но выполнить его без Гвая, конечно, был не в состоянии. Его посадили, а потом после окончания войны выпустили из заключения. Жив ли он сейчас, я не знаю (*Умер в 1950 г. - И.К.*).

Я храню несколько писем от Гвая, ибо после встречи с «катюшей» на Волге я написал ему, и с тех пор у нас завязалась многолетняя переписка. Это был совершенно необычный человек, способный совершать необычные поступки. В этой связи упомяну об одном. Гвай дружил с поэтом Дмитрием Кедриним. Когда в 1945 году поэт погиб под колесами пригородного поезда, куда он бросился сам или, скорее, куда его бросили, это тяжело переживал Гвай. И, стоя у гроба Кедрина, он потихоньку положил ему под голову свой партбилет. Впоследствии на наводящий вопрос парткомиссии «у вас украли партбилет на вокзале?» Гвай ответил «да» и умер членом КПСС, не получив взыскания (*В 1991 году И.И. Гваю вместе с рядом разработчиков ракетных снарядов для "катюши" посмертно было присвоено звание Героя Социалистического труда. В том же году это звание было упразднено как и вся наградная система СССР - И.К.*).

Причалив к правому берегу Волги и преодолев его значительную крутизну, мы с Шаломовым оказались в поселке Тракторного завода, сплошь состоящем из добротных кирпичных многоэтажных домов. И завод, и прилегающий к нему поселок обстреливались минометным огнем немцев, но жители почти не обращали на это внимания — никто не паниковал, а во дворах даже рзвились мальчишки и девчонки, играя в волейбол и классы.

Командира батальона Ванякина я разыскал на небольшой площадке, как помнится, возле цирка. Его командный пункт располагался около миномета, ведущего непрерывную стрельбу по немцам. Я сразу обратил внимание на его молодость и приятную возбужденность. На КП, кроме Ванякина, был комиссар батальона, помощник по технической части Рабинович, уполномоченный особого отдела и врач батальона.

Докладывая мне обстановку, Ванякин сообщил, что немцы прорвались своими танками на северную окраину Сталинграда, на так называемый Рынок. Сейчас он обеспечивает минированием группу генерала Фекленко, на которого возложена задача оборонять Тракторный завод, то есть устанавливает на танкоопасных направлениях минные противотанковые поля. Ванякин вел себя предупредительно, сам вызвался проводить меня к генералу Фекленко для представления и затем помог отыскать щель, в которой я должен был по указанию генерала разместиться с опергруппой. Такая щель нашлась по соседству со щелью, где было КП генерала, что облегчало мою связь с ним. Возвратившись к Ванякину на КП, мы застали там майора Артемьева, который возглавлял в Сталинграде все работы по минированию и подрывным операциям. Артемьев оказался хорошим начальником. Он не вмешивался в мои указания Ванякину и вообще не мелочился, предоставляя мне полную свободу действий. Единственное полученное мною от него распоряжение касалось того, что, когда будут отбиты танковые атаки немцев, я должен буду передислоцироваться в центр города и занять там в парке напротив Дворца пионеров щель, в которой размещена его группа.

С Ванякиным я довольно быстро и хорошо сработался. Я узнал, что он окончил инженерную академию, воюет с начала войны, что однажды, попав в окружение, он лишился своей кандидатской карточки в члены РКП(б), зарыв ее в землю, и теперь считается беспартийным, что до войны он был футболистом московской команды "Спартак". Я как губка впитывал в себя рассказы Ванякина об участии в боевых действиях, стараясь как можно быстрее освоить особенности войны с немцами. Между прочим, в рассказах Ванякина ощущалась какая-то хитринка, недоговоренность и настороженность, но я тогда посчитал, что эта черта, свойственная многим русским людям, особенно крестьянского происхождения.

С Алексеем Васильевичем Ванякиным я поддерживаю дружбу до сих пор и в свое время узнал, что он сын кулака и вынужден был скрывать это. Узнал я также, что он до войны был беспартийным, кандидатской карточки никогда не имел и стал членом партии в конце или после войны на основании сочиненной им легенды, счастливо избежав гонений и терзаний из-за своих предков. Сейчас Ванякин преподаватель академии имени Фрунзе и носит звание генерал-лейтенанта. Я убежден, что СССР был бы несравненно более силен, если бы в свое время по указаниям Сталина у нас не проводилось бы раскулачивание. Сталин не учитывал гибкость людей, их способность перерождаться под влиянием изменившихся условий и господствующих идей. Ни в Болгарии, ни в Польше, ни в Венгрии, ни в Румынии, ни в Югославии не раскулачивали кулаков и не подвергали их шельмованию и физическому уничтожению, как делалось повсеместно у нас, в частности, на Украине и в моем родном селе.

Находясь поблизости от батальона Ванякина в течение нескольких дней, фактически до того времени, когда генерал Фекленко выполнил свою задачу по обороне Тракторного завода и отбил танковые наступления немцев, я был свидетелем многих совершенно необычных событий и происшествий. Вот только некоторые из них.

Неподалеку от щели, в которой размещалась опергруппа, находилась обычная сделанная из теса будка уборной на два очка. Как-то, видимо, из-за начавшейся интенсивной бомбежки, к нам заскочила врач минометного батальона и обратилась ко мне с неожиданной просьбой. Эта молодая, стройная и миловидная женщина попросила меня, самого старого по виду (я был сильно седым с 25-ти лет), сопроводить ее в уборную — одна идти под бомбами она не решалась. Я ей сказал, что по своему врожденному уважению к женщинам я не готов быть свидетелем такого рода интима и прошу освободить меня от этого. Пойти с ней с радостью вызвался молодой лейтенант из свиты генерала Фекленко. Едва дверь за ними закрылась, как на уборную упала бомба весом не менее тонны. Вместо уборной мы потом увидели глубокую яму, в которой не было ничего - ни врача, ни лейтенанта. От них не осталось никаких следов.

Тогда, возвращаясь в щель, я подумал, что, видимо, мне суждено остаться живым на этой войне и вернуться после нее к своим любимым жене и сыну.

Как-то, проверяя с Ванякиным хранение в его батальоне взрывчатых веществ (тола, мин и артснарядов), я увидел, что не менее 10-15 тонн этого добра со всей аккуратностью уложено в узком глубоком овраге, и в нем же установлен вооруженный круглосуточный пост. Я сказал Ванякину, что на всякий случай лучше перенести пост наружу, в непосредственной близости от

открытого склада с боезапасом. Ванякин сразу меня понял (он вообще схватывал все налету) и тут же приказал часовому вылезти из оврага. Не успели мы удалиться на приличное расстояние, как сзади раздался оглушительный невиданной силы взрыв. Это пролетавший немецкий самолет, скорее всего случайно, сбросил бомбу в овраг. Взрывом был разорван на части и немецкий самолет, и его летчик, а наш часовой остался жив. Я даже сейчас как будто помню его фамилию – Пономарев, и мне приятно вспоминать этого минера. Как-никак он остался жив только благодаря мне, был жив и на Курской Дуге, и когда мы пришли в Гомель. Может быть, он дожил и до конца войны и здравствует и сейчас.

После такого взрыва овраг заметно увеличился, а от взрывчатых веществ ничего не осталось. Уцелевший часовой оказался совершенно голым, его винтовка была раздроблена, а ствол скручен. Однако сам Пономарев оказался в состоянии дойти с нами до КП батальона, вполне разумно отвечал на наши вопросы и из стеснения закрывал руками свое, как он говорил, «причинное место».

Как правило, немцы начинали и заканчивали бомбёжки Сталинграда ежедневно в одно и то же время, и для бомбёжки того или иного объекта всегда прилетало 9 самолётов. Эти самолёты летали по кругу друг за другом и по очереди сбрасывали бомбы, иногда при этом пикируя. Наблюдая одну из таких бомбёжек, я был свидетелем того, как один лётчик, видимо, раньше времени бросил бомбу и попал прямо в кабину другого самолета, еще не вышедшего из пике. Этой бомбой самолёт был разорван в клочья. Оставшиеся восемь самолётов быстро исчезли, не закончив запланированную бомбёжку.

На территорию Тракторного завода немцы сбрасывали не только бомбы, но и листовки. Я не стеснялся знакомиться с их содержанием и болезненно среагировал только на одну, с картой, на которой было точно указано расположение наших войск под Сталинградом. Это наводило на серьезные размышления о составе наших штабов и нашей бдительности.

Кипу немецких листовок во всём их многообразии я увидел у одного человека, задержанного уполномоченным особого отдела батальона Ванякина. Задержанный, по виду рабочий, собрал их для того, чтобы объяснить немцам причину своего перехода к ним, так как, по словам уполномоченного, был схвачен в нейтральной зоне, когда он пробирался в сторону немцев. Задержанный был классическим олицетворением предателя и труса, и я не испытал ни тени жалости, когда уполномоченный прикончил его выстрелом из пистолета.

Сам уполномоченный был своеобразной личностью — активный, живо всем интересующийся, не ведающий ни страха, ни сомнений. Его всегда можно было видеть на минировании или на переднем крае. Без него не обходилась ни одна боевая операция батальона и ни одно боевое задание. Я сразу стал симпатизировать ему, подружился с ним более, чем с другими, и узнал его кипучую, мягущуюся натуру. Именно поэтому меня не удивила его пламенная любовь к одной сталинградке, до войны работавшей на Тракторном заводе. Любовь, возникшая в самое неподходящее время к самой обычной молодой женщине, оказалась не мимолётной. Эта весьма скромная, спокойная и покладистая женщина, надо думать, по ходатайству уполномоченного, стала работать в техническом отделе штаба бригады, но кончила она свою жизнь, как и сам уполномоченный, трагически. В период боёв на Курской дуге он в порыве беспричинной ревности застрелил ее из пистолета, а затем, не отходя от ее тела, застрелил себя.

В это же время начался и роман Ванякина со своим батальонным врачом Аней, то есть Анной Тимофеевной. Их любовь оказалась счастливой. Анна Тимофеевна стала женой Ванякина, родила двух сыновей и нынче счастливо живёт с мужем и богатырского сложения сыновьями в Москве. Кстати, любовь на фронте вовсе не была столь исключительным и редким явлением, как это может показаться по книгам военных мемуаристов. Я, грешным делом, вообще слабо верю в правдивость этих книг. Мемуаристы, умалчивающие о любви в грозные дни военного лихолетья, когда люди, может быть, более всего в ней нуждались, способны, мне кажется, умолчать о чем угодно и присочинить, что им вздумается.

Я в ту пору стал часто бывать в штабе созданного тогда Сталинградского фронта по вызову начинжа фронта товарища Шестакова, и, в поисках его заглядывая в палатки, то и дело наталкивался на обнимающиеся и с увлечением целующиеся пары. Ещё более впечатляющую

картину на сей счёт я видел на знаменитом Мамаевом кургане в штабе 62-ой армии, командование которой принял генерал Чуйков. На Мамаев курган я был вызван начинжем Грачёвым и прибыл туда во время неистовой немецкой бомбёжки и обстрела. Разыскивая Грачёва, я из-за этого обстрела был вынужден время от времени укрываться в землянках, лежащих на моём пути, и почти в каждой наталкивался на молодых женщин, что-то пишущих или печатающих на машинках. Вид этих женщин, особенно в те минуты, производил неизгладимое впечатление — все они были миловидны, с причёсками и умелой косметикой, в нарядных платьях и элегантной обуви и, казалось, явились на любовное свидание, а не на работу.

Начинж Ф. М. Грачёв, знающий толк в боевых действиях, так как воевал с немцами ещё в Испании, а затем с самого начала Великой Отечественной войны, сразу после моего представления дал мне исчерпывающие указания по обеспечению 62-ой армии установкой минных полей. Грачёв счёл нужным пойти вместе со мною к командующему армией товарищу Чуйкову. Мы зашли к командующему в момент, когда от снаряда или бомбы, упавшей вблизи его землянки, нам и ему на голову, а также на стол, за которым он сидел, посыпалась земля. Приказав привести землянку в порядок, Чуйков предложил нам выйти на свежий воздух. На «свежем воздухе» обстрел Мамаева кургана ощущался несравнимо острее, чем в землянке. Меня поразили слова генерала Чуйкова: «Я себя по-настоящему хорошо чувствую только при обстреле», - и я пожалел, про себя, конечно, что не работаю вместе с ним, вспомнив друга моей юности Ивана Мироненко. По-видимому, они были сделаны из одного теста.

Возвратившись с Мамаева кургана, я получил письменное приказание командира бригады немедленно прибыть в штаб бригады. Сразу после переправы по понтонному мосту, который, как я узнал, навёл мой киевский сослуживец по 3-му понтонному батальону Пономаренко, бывший в моём подразделении старшиной, мы догнали на полutorке большую группу заключённых, эвакуируемых под усиленным конвоем из-под Сталинграда в тыл. На удивлённый возглас водителя полutorки «Как много в Сталинграде уголовников!» один из конвоируемых сказал: "Дурак! Мы не уголовники, а люди, страдающие неизвестно за что!"

Затем мы остановились возле группы женщин, в основном молодых, и предложили подвезти их. Оказалось, что им в другую сторону, и помочь мы не можем. Из разговора с ними я узнал, что они ленинградки, к несчастью, эвакуировавшиеся «из огня да в полымя». Все они были, как девушки из штаба генерала Чуйкова, причесаны, приодеты, с обильно нанесенной на лица косметикой. На мой вопрос о причинах этого они, смеясь, хором ответили: «Мы закамуфлировались от немцев».

В штабе бригады я докладывал о работе опергруппы Михаилу Фадеевичу в присутствии его заместителя Харченко. Виктор Кондратьевич ещё не полностью выздоровел после контузии, полученной при бомбёжке Сталинграда, но, несмотря на недомогание, внимательно выслушал меня и вместе с Иоффе задал мне ряд уточняющих вопросов. Это была моя первая основательная встреча с Харченко (*последняя должность до гибели во время учений в 1975 г. - маршал инженерных войск - И.К.*), хотя я мельком видел его не один раз ещё в Ленинграде, когда он учился в академии, а также по приезду в бригаду. Мне рассказывали о нём много хорошего. В академии я слышал, что он входит в пятёрку лучших спортсменов академии и является чемпионом Красной армии, или даже СССР, по прыжкам с трамплина на лыжах. В бригаде мне говорили, что он вдумчиво и спокойно действует в любой обстановке. За небольшой период пребывания в бригаде при отходе к Сталинграду отличился при какой-то переправе и за проявленную смелость и умелые действия награждён орденом Красного знамени. А контузию он получил в самом начале бомбёжки Сталинграда, когда немцы забрасывали бомбами районы города с деревянными домами, где и размещался штаб инжвойск. Кроме того, при гашении зажигательной бомбы Харченко серьёзно повредил себе глаза, лицо и руки и был отправлен на левый берег Волги.

Выслушав мой доклад и одоблив действия опергруппы, Иоффе и Харченко дали мне ряд существенных советов и указаний, после чего я возвратился в опергруппу. Заехав на КП Ванякина в Сталинграде, я сообщил ему о передислокации нашей опергруппы в щель у Дворца пионеров вблизи памятника летчику Хользунову. Пребывание на новом КП вместе с опергруппой

Артемьева позволило мне более близко познакомиться с боевой работой роты специального минирования нашей бригады, которая оперативно подчинялась не мне, а непосредственно Артемьеву. Эта рота, которой командовал Пергамент, при участии комиссара Боймельштейна и офицеров М. М. Кущи и М.П. Болтова, устанавливала мины по указаниям члена Военсовета Сталинградского фронта Н.С. Хрущёва. От Артемьева, лично получавшего эти указания, я слышал, что Хрущёв строго настрого приказал ему в случае оставления нами Сталинграда взорвать большие баки на берегу Волги с нефтью и вообще всем горючим. «Если сдадим город, пусть горит вся Волга», - сказал Хрущёв. Один из таких баков продолжал гореть и дымить еще с 23 августа после немецкой бомбежки.

В период, когда наша опергруппа дислоцировалась около Дворца пионеров, немцы продолжали точно по расписанию бомбить город и обстреливать его тяжёлыми артснарядами, что ежедневно приводило к новым пожарам и новым жертвам. Были они и среди наших товарищей - офицеров группы Артемьева. Такой же опасности ежедневно подвергался и я со своими подчиненными Драчинским и Шаломовым, но несмотря на многочисленные вылазки в город, мы оставались живыми и невредимыми. Однако в одну из таких вылазок по заданию комбрига, связанному с выполнением заказа бригады на одном из заводов, я только по случайности остался жив. Во время уже привычной бомбежки мы, то есть я и офицеры роты специального минирования М. П. Болтов и М. М. Боймельштейн, по одному, как полагалось, следовали по дороге, представлявшей собой высокую насыпь, по бокам которой валялся в беспорядке металлический хлам. Когда раздался свист бомбы, я по крику Болтова, шедшего позади меня, «ложись!», почему-то не упал ничком на насыпь, а прыгнул с нее в кучу металлолома. Бомба взорвалась на насыпи как раз в том месте, где две секунды назад я находился. Я же не только остался жив, но, к удивлению моих товарищей, и невредим, хотя прыгнул я в груды железа с такой высоты в обычной обстановке, наверняка поломал бы себе руки и ноги.

Всё это время, о котором товарищ Ванякин писал в донесениях в бригаду, что «батальон находится в огненном кольце», снабженец Шаломов приставал ко мне с просьбой отправить его на уцелевший в городе спиртзавод за спиртом. Я долго не давал на это разрешения, но однажды, когда, ревя, бомба, разорвалась около одного из входов в нашу щель, и огонь в виде густого вихря пронёсся по всей щели и не обжёг нас только потому, что мы случайно сидели спинами по направлению к нему, я сдался.

- Ладно, Шаломов. Поезжай на завод и достань спирту. Выпьём за наше благополучие.

Шаломов был высокого роста, плечистый, несколько тяжеловатый для своих лет молодой парень, с привлекательным пухлогубым лицом ребёнка и с добродушной улыбкой. Любимой его поговоркой было: «Люблю повеселиться, что-нибудь пожрать». В напряженной боевой обстановке тех дней он ухитрялся заводить кратковременные романы то со сталинградками, то с зенитчицами, то с медсёстрами, то с машинистками различных штабов. Его романы, как правило, сопровождалась довольно курьезными приключениями, о которых он любил рассказывать, и всем мы, включая Артемьева, не без любопытства его слушали.

Местная командировка Шаломова на спиртзавод затянулась, и я уже стал беспокоиться о нём, особенно, когда мне доложили, что видели его за оградой завода, идущим под конвоем с поднятыми вверх руками. Но тревога оказалась напрасной. Шаломов вернулся и привёз не один литр спирту, как я предполагал, а огромный сосуд, в каком обычно возят электролит, литров на 50. Из этой бутылки мы отлили для себя не более 5 литров, а остальное я послал в распоряжение штаба бригады с подвернувшимся снабженцем бригады.

После того, как мы понемногу выпили со всеми, кто был в щели, и лишний раз убедились, как благотворно действует алкоголь, когда тебя бомбят, майор Артемьев и товарищи, захватившие ко мне из штаба инжвойск, рассказали, что немцы ведут усиленное наступление с целью вырваться к Волге на границе 62-й и 64-й армий, и посоветовали мне перенести КП опергруппы в район Бекетовки, поближе к штабу 64-й армии. Что я и сделал.

Возле штаба армии я нашел и штаб инжвойск, располагавшийся в землянках, вырытых в крутом правом берегу Волги. Представившись начинжу, товарищу Бардзиловскому, я получил от него сведения о том, как найти батальон Ляшенко, и узнал мнение начинжа о действиях этого

батальона. Наш разговор был прерван из-за того, что начинжа на короткое время вызвали на совещание оперативного отдела армии. В землянке было душно и, ожидая возвращения Бардзиловского, я вышел наружу. Погуляв по узенькой площадке перед землянками, я остановился возле какого-то военного и стал, как и он, наблюдать за тем, что делается в городе. А в городе, вернее, в той части его, которая была нам видна, шёл бой. Наша артиллерия прямой наводкой била по немецким танкам, рвущимся к Волге. Военный, в зелёном комбинезоне и фуражке, как мне показалось, чекиста, на моё замечание: «Не дело так воевать» спросил: «А что вам не нравится?»

- Мне не нравится, что бой идёт рядом с командным пунктом командующего армией.

- Значит, вы считаете, что мы плохо воюем? - услышал я и ответил:

- Конечно, плохо.

- Кто же это плохо воюет? – пристал он.

- Конечно, генералы, а не солдаты, - брякнул я.

Появившийся товарищ Бардзиловский почтительно приветствовал моего собеседника. Когда, уже в землянке, я спросил начинжа, кто это был, то оказалось что я беседовал с командующим Сталинградским фронтом товарищем Ерёменко.

Пока я был у начинжа, Драчинский и Шаломов неподалеку, почти на самом берегу Волги, отыскали хорошую землянку и разместились в ней со своим нехитрым имуществом. Шаломов, большой любитель опереточного пения, не обращая внимания на разрывы снарядов вблизи землянки, уже пел:

"Ах, все Адамы до наших дней

При виде дамы стремятся к ней..."

Интересный он был человек. Смелостью отнюдь не отличался и всегда, получая от меня или других то или иное задание, в какой-то мере связанное с опасностью, всячески старался увернуться от его выполнения. Но когда видел, что задания не избежать, то на глазах преображался — становился весёлым, бодрым и способным творить чудеса. В качестве примера приведу хотя бы один случай.

Однажды после очередного внушительного назидания я приказал ему отправиться на аккумуляторный завод и привезти оттуда несколько аккумуляторов для управляемых минных полей.

- Без аккумуляторов не возвращайся и не попадайся мне на глаза, — напутствовал я его.

Аккумуляторы Шаломов привёз, достав их на заводе, который к тому моменту уже был занят немцами, о чём я, естественно, не знал. Впотьмах, надвинув пилотку с отвёрнутыми краями на самые уши, он сошел среди них за своего. Больше того, увидев после загрузки автомашины аккумуляторами походную кухню, у которой стояла очередь немцев за ужином, он не побоялся встать в очередь и получить в котелок ужин для себя и водителя полуторки. Не знаю, сколько в этой истории правды, сколько вымысла, но ужин, привезенный вместе с аккумуляторами, говорил сам за себя. Мы съели его всем коллективом опергруппы не столько из-за того, что проголодались, сколько из-за необычности его происхождения.

Несмотря на давно наступившую ночь, я из-за духоты в нашей новой землянке никак не мог заснуть и решил переместиться в дощатый сарай по соседству, где хранилось прутковое железо. Видя, что я покидаю землянку со своими примитивными спальными принадлежностями, за мной

увязался и Шаломов, тоже мучающийся от бессонницы. Мы простелили себе на полу бывшего склада и под воздействием свежего воздуха мгновенно заснули. Утром нас разбудили артиллерийские выстрелы, гремевшие, казалось, над самой головой. Мы вылезли из своего убежища и увидели прямо напротив двери зенитное орудие, ведущее огонь по немецкому бомбардировщику. Оказалось, что ночью, пока мы, по выражению моего компаньона, спали, как камушки, возле нас расположилась зенитная батарея, которую обслуживали молодые артиллеристки. Остановившись около них и видя, что их снаряды взрываются в стороне от бомбардировщика, я не удержался и спросил:

- Куда вы стреляете, красавицы милые?

- Богу в яйца – не задумываясь, ответили мне красавицы, продолжая вести огонь.

Утром ко мне приехал комбат Ляшенко с докладом о боевых действиях его батальона в 64-й армии. Не без удивления я узнал, что штаб его батальона расположен в лесу на противоположном берегу Волги. Ляшенко, имевший какое-то высшее техническое образование, поражал прежде всего своей речью с сильным украинским акцентом, при том, что многие русские слова он искажал настолько, что зачастую нельзя было понять, о чём идёт речь. Скажем, салфетку он называл "салифеткой". В отличие от стройного подтянутого Ванякина, Ляшенко был сильно огруженным человеком, с лоснящимся сальным, припухшим лицом. Сталкиваясь с ним в последующем, я убедился, что он явно не на своём месте. Будучи по характеру неторопливым и даже медлительным командиром, он оживал, лишь когда занимался хозяйственными делами. Очевидно, поэтому его батальон отличался от других лучшим питанием и обмундированием, даже лошади в обозе его батальона были упитаннее, а повозки исправнее, чем у соседей по бригаде. Боевой же деятельностью батальона он руководил без всякого интереса, не проявлял в этом никакой инициативы, хотя по справедливости нужно отметить, что он, будучи хорошо дисциплинированным командиром, всегда обеспечивал выполнение задач, поставленных перед батальоном. В дальнейшем не без моей инициативы Ляшенко был переведен на хозяйственную работу, став помощником командира бригады по хозяйственной части и на этой должности с успехом выполнял свои довольно сложные и многообразные обязанности до конца войны.

Прорыв немцев к самой Волге на границе между 62-й и 64-й армий отделили Бекетовку от Сталинграда, из-за чего чтобы держать связь с батальоном Ванякина, я вынужден был дважды переправляться через Волгу. Это обстоятельство, а также целесообразность размещения опергруппы вблизи штаба батальона Ляшенко заставили меня переехать на левый берег, что, кстати, облегчало и связь с начинжем Сталинградского фронта Шестаковым.

Как-то вблизи штаба Ляшенко я завтракал с оперуполномоченным его батальона на небольшой лесной полянке леса. Мы слышали, что над нами идёт воздушный бой, но не обращали на это довольно заурядное обстоятельство внимания. Вдруг чуть ли не на наши головы свалился наш парашютист. Мы его приняли в свою компанию позавтракать, угостив стаканом разбавленного спирта, и когда он пришёл в себя, услышали от него, что он летел на Яке, и его атаковали три мессершмитта, подбили и зажгли его самолет, так что ему пришлось выбрасываться на парашюте. Лётчик просветил нас, что господству немцев в воздухе наступает конец. Против наших Як-9 и американских «кобр» немцы не в состоянии бороться так, как они это делали с прежними с нашими самолётами.

Однажды на пути от Ляшенко к Ванякину я встретил начинжа 62-й армии Грачёва, которому сильно симпатизировал. Он был чем-то огорчён. В разговоре он сообщил, что уходит от Чуйкова и уезжает в Москву.

- Что случилось? – спросил я, искренно сожалея, что он уезжает.

- Чуйкову не понравилось, как я организовал переправу через Волгу на баржах, но дело не в этом, а в том, что, по-видимому, он имеет на мою должность какого-то своего человека, - поведал мрачно Грачёв.

- На какую же должность Вас ждут в Москве?

- На должность по откупориванию пойманных в море бутылок с письмами. Берут пример с Англии, - ещё более мрачно закончил он разговор со мной.

К концу моего разговора с Грачёвым подъехал мой комбриг. Михаил Фадеевич, выслушав мой доклад, сказал, что сейчас моей основной задачей является забрать от Шестакова все части бригады и направить в новое место дислоцирование бригады.

- Наша бригада передана Донскому фронту. Фронтом командует К.К. Рокоссовский, начинж фронта А. И. Прошляков. Чем скорее вы вызволите со Сталинградского фронта батальоны Ванякина и Ляшенко и роту Пергаменты, тем лучше. Как только вызволите, поезжайте в штаб бригады. Мы находимся в селении Попки.

Занимаясь выполнением этой задачи, я старался ежедневно появляться в батальоне Ванякина и Ляшенко и ежедневно встречаться с начинжем Шестаковым. Ему я обычно докладывал, что в данной боевой обстановке части бригады специального используются не по своему прямому назначению, а заменять ими сапёров дивизий или даже полков, по меньшей мере, неразумно. Товарищ Шестаков не мог опровергнуть мои доводы, но, указывая на ту или иную девятку самолётов, занятых бомбёжкой наших позиций, твердил:

- При таких делах я не имею никакого права отзывать из войск не только твои батальоны, но даже одного солдата.

Обстановка была действительно крайне напряженной. И это было видно, помимо всего прочего, из того, как много понаехало в Сталинград начальства из Москвы. Здесь, в частности, я увидел генерала Баранова из Управления инженерных войск РККА и от него узнал, что сюда приехал и работник этого управления Я. М. Рабинович. Яков Михайлович был мне известен по академии, где в бытность мою там он работал в отделе научно-исследовательских работ и проявил себя с самой положительной стороны, к тому же обладал на редкость чудесным характером. С начала войны его перевели в Управление инженерных войск, но он практически всё время находился на фронте и, как мне рассказывали, неоднократно показывал примеры невиданного героизма. Спал он преимущественно в легковой машине, везде возил с собой запас мин, взрывчатки и детонаторов, при необходимости сам устанавливал минные поля и самолично подрывал нужные объекты. Приехав в Сталинград, он тут же без надлежащей разведки отправился в какое-то селение для самостоятельного минирования и нарвался на немцев. Немцы обстреляли его машину, ранили его в грудь, и только самообладание шофёра спасло его от плена. Я крайне сожалел о несостоявшейся в Сталинграде встрече с Яковом Михайловичем. Встретились мы только после войны, когда он вызвал меня из Вены для составления новых уставов по вопросам минирования и разминирования. От ранения в грудь он излечился, но, в дальнейшем его страсть к индивидуальным боевым действиям стоила ему ноги, которую он потерял на взорвавшейся мине. Умер он преждевременно от лейкемии. Я всегда тепло вспоминал его, когда встречался с другим Рабиновичем – помощником по технической части батальона Ванякина, тоже отличавшемся смелостью и инициативой в выполнении боевых заданий. Артемьев мне рассказывал, что когда он спросил Рабиновича, не родственник ли он Якова Михайловича, тот, видимо, привыкший к такому вопросу, ответил:

- Если в Киеве на Фундуклеевской улице крикнуть «Рабинович!», то остановятся все трамваи, троллейбусы и автобусы.

Вскоре, когда обстановка на Сталинградском фронте стала стабилизироваться, я вместе с приданными мне батальонами и вернулся в бригаду. Уезжал я с передовой не без огорчения и угрызений совести. Щемило сердце от мысли, что покидаешь людей, жизнь которых ежесекундно подвергается опасности. Но приказ есть приказ, и после двухмесячного отсутствия я снова занял свою землянку.

В штабе меня приветливо встретили Иоффе и Харченко. Убедился я в доброжелательном отношении ко мне и остальных офицеров штаба. Подтверждением этого был мой портрет с какой-то хвалебной надписью, помещённый на специальной витрине на всеобщее обозрение, что скорее меня удивило, чем обрадовало, ибо я критически оценивал свою деятельность в бригаде со дня прибытия, считая, что сделал меньше, чем мог сделать. По моей просьбе меня назначили на должность начальника отделения минирования, вместо погибшего на боевом задании малознакомого мне молодого офицера.

Чтобы в дальнейшем воевать умнее и эффективнее, я всё остающееся от работы время тратил на изучение вопросов минирования и разминирования. В этом мне ощутимо помогали товарищи, работавшие при отступлении в Киеве и Харькове с полковником И.Г. Стариновым, написавшим по аналогии с названием книги Г. Гудериана «Внимание, танки!» свою рукопись «Внимание, мины!», которую мне удалось прочесть, и которая, кажется, не была опубликована. Из таких учеников наиболее эрудированным был М. Ш. Меламед. От него я узнал содержание лекции Старинова, которые он слушал, а также и привычки Старинова и даже стал по примеру его учеников говорить в нужных случаях: «Муть, муть». Именно так часто говаривал Старинов, поглаживая одной рукой крепко раненную другую.

Добросовестное изучение своей новой специальности дало мне возможность в селе Попки, куда переехала бригада для пребывания в резерве, читать лекции офицерам-минерам армий, состоящих в Донском фронте. В лекциях я поднимал как темы минирования и разминирования, так и вопросы устройства наших и немецких мин замедленного действия и способы их разминирования. К своим лекциям сам я относился весьма критически, однако получал восторженные отзывы слушателей и одобрительные отзывы лиц, контролируемых проводимые мною занятия. Среди слушателей было несколько офицеров из штаба инжвойск 1-й гвардейской армии, где начальником был мой старый знакомый Иван Николаевич Брынзов, в свое время мой комиссар в 3-м понтонном батальоне. Уже и тогда, в бытность комиссаром, он был женат, отличался от других молодых командиров особой супружеской верностью и часто беседовал со мною о взаимоотношениях с женщинами, поскольку я в этом был не так четок, как следовало бы. Когда меня исключали из партии, Иван Николаевич пытался помочь мне, за что поплатился строгим выговором с предупреждением.

Так вот от его подчиненных я услышал, что Иван Николаевич неожиданно-негаданно влюбился на фронте в цыганку-чертежницу своего штаба. Влюбился без памяти, находится в полном её подчинении, чертит за неё чертежи, души ней не чаёт и не отпускает её ни на шаг. Помню, я пожалел его верную супругу Анну Ивановну и дочку Нелли, блиставшую в детстве своей привлекательностью, но все это лишь подтверждало мое мнение: во время войны потребность людей в любви обостряется.

В Попках наш технический отдел буквально день и ночь занимался разработкой новых способов минирования и разминирования и составлением соответствующих инструкций для частей бригады. В частях же мы конкретно руководили установкой мощной зоны минных полей различного вида. Жили мы в просторном доме, принадлежавшем хозяйке, дочка которой работала прачкой в одной из воинских частей и вышла там замуж за офицера. Приглядная хозяйка – типичная донская казачка – питала особую симпатию ко мне, особенно когда я подарил ей галоши для дочки из числа трофеев, привезённых опергруппой из Сталинграда. То пригорюниваясь, то смеясь, она она не раз рассказывала о трудностях своей вдовьей жизни. Муж ее погиб еще в Гражданскую войну. Он был казак и служил у белых.

Однажды в ту пору она и ее толстая подружка поехали в Камышин, где были их мужья. «Белые, конечно, и не знали, - рассказывала она, - что около Камышина шуруют красные, и нас остановил красный командир с красноармейцем. Были они на конях. Командир взглянул на нас, приглянулась ему я, и он приказал мне идти в кусты. Ничего не поделаешь – пошла, и он за мной. Когда шли из кустов, я пожаловалась ему, что подружка расскажет обо мне мужу и всему селу, и он меня успокоил, что не расскажет. Как только подошли к подводе, он сказал моей толстой подружке: «А ну-ка иди с Сенькой в кусты». Та, понятно, тоже пошла. Приехав к мужьям, мы, конечно, не рассказали им, что побывали в руках красных. В селе до сих пор никто не знает об этом моём приключении в молодости. С тех пор с лёгкой руки красного командира было у меня

много приключений. За чем ни пойду, о чём ни попрошу, не обходится без приключений. Ни же зерно не обдерёшь, ни же муки не смелешь, ни же земли не вспашешь, не то что на поле, но даже в огороде», - жаловалась мне хозяйка, не теряя при этом своего обычного оптимистического настроения.

Среди постояльцев хозяйки был и мой Шаломов, не удержавшийся от приставаний к ней, за что она набила ему физиономию. Чтобы разрядить обстановку, я уговорил Иоффе послать Шаломова в Саратов за машинисткой, которой нам явно не хватало для печатания многочисленной документации. Через несколько дней, уже ночью, Шаломов вернулся и доложил мне, что машинистку он привёз и устроил её в доме, где жили девушки из штаба бригады. «Целуется она, как Афродита», - шёпотом рассказывал он мне.

- А печатать-то она умеет? - спросил я.

- Точно не знаю, - услышал я в ответ.

Наутро выяснилось, что машинистка Полина, так ее звали, печатает вполне приемлемо, правда, не очень грамотно. Она была в бригаде до конца войны, потом вышла замуж за лётчика, живет в Москве, сын ее учится в МГИМО.

Поздней осенью 1942 года, когда бригада создавала мощную зону минных заграждений, на севере от города, мне часто приходилось выезжать в батальоны для выполнения заданий. Однажды, получив какое-то весьма ответственное поручение, я должен был выехать в батальон, действующий на значительном расстоянии от штаба бригады. Выехал я туда рано утром на мотоцикле «Харли-Дэвидсон», причём я уселся в коляске, а ехавший вместе со мною Шаломов устроился на сиденье позади мотоциклиста. Дорога в степи была так хорошо укатана, что практически ничем не отличалась от асфальтированной. Ехали мы на большой скорости. В дороге нам пришлось объезжать разрушенный или для какой-то цели разобранный мост, очевидно, через полностью пересохшую речушку, от которого остались только два ряда торчащих из земли свай. Когда мы, несколько снизив скорость, ехали по объезду мимо разрушенного моста, я обратил на него внимание мотоциклиста и сказал:

- Обратно будем ехать ночью. Смотри не забудь про этот мост и не прозевай объезд.

Под вечер, когда дела были закончены, гостеприимный командир батальона пригласил нас троих поужинать. Ужин несколько затянулся, и мы выехали в обратный путь уже глубокой тёмной ночью. Отъехав не более чем на километр, я обнаружил, что забыл у комбата в доме планшетку, и решил за ней вернуться, несмотря на укоризненное ворчание Шаломова, что "теперь дороги не будет". С планшеткой я снова уселся в коляску, мы пустились в обратный путь и, поскольку потеряли какое-то время на возвращение, поехали еще быстрее, чем днём, благо дорога была прекрасная и нами проверенная.

Мотоциклист уверенно вёл мотоцикл, Шаломов, сидя сзади, мурлыкал арии из оперетт, а я в коляске, закрыв глаза, размечтался о своём маленьком сыне, которому едва исполнилось полгода, и молодой крепко любимой жене. Мои мечты были прерваны криком мотоциклиста: «Мост!» Я открыл глаза и в ярком свете мощной передней фары увидел два ряда свай и противоположную стенку обрыва. Инстинктивно вытащив ноги из коляски и приподнявшись, я вылетел из неё, когда мотоцикл, пролетев над сваями, ударился о стену насыпи передним колесом. Одетый в шинель, застегнутую наглухо и затянутую поясным ремнём, с трофейным электрическим фонариком, висящим на груди на пуговице, я брякнулся грудью и животом на землю и слышал, как брякнулся рядом тяжеловесный Шаломов. Я ощупал себя и, убедившись, что руки и ноги у меня целы, перевалился с одного бока на другой, приподнялся и громко спросил: «Вы живы?». "Вроде, живы", - отозвался сначала наш мотоциклист, а затем и Шаломов. «Проверьте целостность рук и ног и вставайте», - сказал я и, включив свой чудом уцелевший фонарик, увидев в свете его, что мотоциклист действительно невредим, а у Шаломова лишь незначительно повреждена физиономия. Втроем мы вытащили и мотоцикл, удачно упавший между сваями. К нашему общему

удивлению, он совершенно не пострадал, и мы, сев, поехали дальше, будто ничего с нами не случилось. Только Шаломов изредка вытирал сочившуюся из ссадин кровь на лице.

Утром, когда я докладывал комбригу о результатах поездки в батальон, он подробно расспрашивал меня об уже известном ему ночном дорожном происшествии. Ни в чём не укоряя и не обвиняя меня, он приказал мне снова выехать в тот же батальон с другим заданием.

- Такое происшествие, какое было с вами минувшей ночью, бывает только на войне и только раз в жизни. Больше я вам давать мотоцикл не буду. Сегодня поедете на пикапе Виктора Кондратьевича, и постарайтесь, чтобы не было никаких аварий», - напутствовал он меня.

Как и вчера, проезжая мимо разрушенного моста, я завёл с водителем автомашины разговор аналогичный тому, что и вчера с мотоциклистом, причём на этот раз попросил даже остановиться на объезде напротив свай и запомнить это место. Так же, как и вчера, после выполнения задания мы ехали по изученной мною дороге с хорошей скоростью и ярко светящимися фарами. Я сидел в кабине с водителем. В коробке пикапа сидели два солдата из батальона, взятые нами для какой-то надобности. Как и вчера я думал о сыне и жене и, прикрыв глаза, потихоньку дремал. От вскрика водителя «Мост!» я открыл глаза и снова увидел в свете фар два ряда свай и отвесную стену насыпи за ними. Пикап мчался на них, но водитель резко затормозил машину, и она, заскрипев, повисла на зиявшем перед нами провалом только передними колёсами. Выскочив из машины, мы вчетвером с помощью имевшихся в ней лопат поставили машину на четыре колеса и благополучно без всяких происшествий вернулись к себе. После этого случая я с большой неохотой совершал в ночное время поездки на автомашинах. Мне потом время от времени везде, особенно, когда машина въезжала даже на незначительное возвышение дороги, мерещился за ним провал моста и два ряда торчащих свай. Только примерно через год я избавился от этих неприятных галлюцинаций.

Находясь в Попках, я почти ежедневно выезжал в части бригады по тем или иным заданиям Михаила Фадеевича, иногда вместе с его заместителем Харченко. Мне были интересны поездки с Виктором Кондратьевичем не только тем, что мы обычно ехали на его быстрой и комфортной легковой машине, а не на полуторке, но и дорожными разговорами на самые разные темы, поскольку он был человеком незаурядным. Запомнилась совместная поездка в батальон Г. И. Гасенко. Комбат Гасенко и его начальник штаба Козлов, молодые, полные энергии офицеры, из-за частого переподчинения их батальона той или иной армии стали мало считаться с бригадой, и Харченко при мне вёл с ними соответствующую беседу. Он ни в чём не укорял их, тем более не распекал и не читал нотации, а спокойно и аргументировано доказывал им, что они всегда, где бы ни были, должны помнить о том, что их батальон есть батальон 16-й ОИБСН, и действовать сообразно этому.

Слушая эту беседу, я стал еще яснее осознавать роль оперативных групп бригады во время боевых действий ее частей, дабы сплачивать бригаду как единую войсковую единицу, способную решать такие стратегические задачи, как создание непроходимого предполья целого фронта. Не менее важным оставалось и руководство отдельными частями бригады в их подчинении армиям. В этом случае именно оперативная группа осуществляла координацию действий батальонов, их связь между собой и бригадой и правильное их использования в боевой обстановке.

От Гасенко и других офицеров штаба батальона после выполнения порученных мне заданий я услышал нечто для меня совершенно новое о писателе М. А. Шолохове. При отступлении батальон оказался в станице Вешенской, на родине знаменитого писателя. Там в это время в доме Шолохова оставалась только его мать. Сам Шолохов и его семейство заблаговременно эвакуировались. Когда то ли при обстреле, то ли при бомбёжке мать Шолохова погибла, комбат Гасенко решил известить его об этом. Посланный с этой целью офицер догнал Шолохова уже где-то в тылу и с трудом уговорил вернуться на похороны матери, организованные батальоном. Приехав, Шолохов побыл на похоронах всего лишь несколько минут и, не дождавшись, пока бойцы зароят могилу и установят крест, поскорее смотался с линии фронта на своей легковой машине.

Гасенко и другие офицеры отзывались о Шолохове как о трусе, и это было крайне неожиданно слышать об авторе "Тихого дона", за первую половину которого он уже успел получить Сталинскую премию. Дали они мне почитать и дневники Шолохова, брошенные им в своём доме при поспешном бегстве из Вешенской. Дневники эти не представляли собой ничего интересного - в них изо дня в день излагались лишь сведения о об охоте и рыбной ловле именитого писателя и результатах такого времяпровождения. Несмотря на малую ценность этих дневников, я посоветовал Гасенко переслать их через газету «Правду» Шолохову.

То, что говорили о Шолохове тридцать лет тому назад в батальоне Гасенко, мне кажется не случайным, и в дальнейшем я уже не удивлялся по меньшей мере дурацким выступлениям Шолохова на партийных и прочих съездах. Несмотря на заслуги перед русской литературой, человек он, по-видимому, всё же никчемный.

Короткое затишье на фронте Михаил Фадеевич использовал для улучшения состава бригады, в первую очередь, естественно, офицерских кадров. Исчез "безобидный и бездеятельный" комиссар бригады, которому Иоффе умело создал все условия, чтобы затем выдворить: как правило, комиссар был крепко поддавши, и к нему в землянку нельзя было зайти, поскольку там постоянно был кто-либо из его подчинённых, мягко говоря, в неглиже. Исчез уполномоченный Особого отдела бригады вследствие его патологической трусости. Исчез и снабженец, с которым я переслал в штаб бригады спирт из Сталинграда. Оказалось, что этот снабженец не довёз ёмкость со спиртом до места назначения, использовав его для каких-то своих целей. Наверное, к месту будет здесь сказать и о ряде других офицеров, попавших в бригаду из 27-УОС - Управления оборонительного строительства. Война застала их в Раве-Русской, где они были под началом И. Е. Прусса. В связи с длительным пребыванием в условиях отступления эти офицеры свыклись с мыслью, что каждый оборонительный бой, короткий или длинный, заканчивается дальнейшим оставлением наших сёл и городов. Поэтому они скептически относились к лозунгу, кажется, Сталина: «Дальше Волги отступать некуда», и готовы были отступать чуть ли не до берегов Тихого океана. Исходя из подобных настроений, эти офицеры и веди себя соответственно. На первое место они ставили собственные выгоды и удобства - обзаводились походно-полевыми жёнами, были большие мастаки в вопросах самоснабжения и умело изображали участие в боевых действиях, которые не угрожали им ни малейшей опасностью.

И все же, справедливости ради, следует отметить, что от своего бывшего начальника Прусса, отличавшегося, как говорили, большой смелостью, они усвоили и много хорошего. Как правило, они были весьма инициативны и не терялись при столкновении с трудностями, всегда находя способы и пути их преодоления. К таким офицерам в штабе бригады я относил, прежде всего, А. А. Голуба, помощника начальника первого отдела штаба бригады. Для характеристики находчивости этого офицера, думаю, будет достаточно одного примера. Как-то начальник первого отдела спросил Голуба: «Как следует писать слово "немедленно"? С одним или двумя н?»

- А это смотря кому и где это слово пишется, - не задумываясь, ответил Голуб. - Если вы пишете, скажем, комбату: «Немедленно прибудьте в штаб бригады...», и если это действительно нужно сделать срочно, то надо писать в слове два "н". Но если с этим можно повременить, то лучше писать одно "н"...

Поэтому в оперативном отделе штаба можно было услышать, как этот начальник, диктовал машинистке:

- Пишите. Комбату И. А. Эйберу. Командир бригады приказал немедленно ... причем с двумя "н". То же самое напишите и комбату Ляшенко, только учтите, что он долго раскачивается, поэтому пишите ему с одним "н"...

С приближением срока нашего наступления на немцев было решено переместить штаб бригады в посёлок колхоза имени Первого мая. С рядом офицеров на это место отправился и я. Доехать до него засветло на нескольких грузовых машинах мы не смогли, и ночью, проследовав

некоторое время с потушенными фарами, остановились на ночлег. Квартирьер отвёл мне маленькую избушку. Придя в неё после размещения всех, кто ехал со мною, я застал в избушке готовую постель на душистом сене, сооружённую из походных палаток, и машинистку штаба бригады. Конечно, такое "расквартирование", сделанное, как видно, из самых добрых побуждений, было не случайным. По чьей-то инициативе, может, самой это машинистки я оказался с ней на целую ночь вдвоём. Эта машинистка была женой командира комендантской команды штаба бригады, толкового и расторопного офицера. Она была из тех украинок, что унаследовали от своих пра-пра-прабабушек, побывавших в руках воинов Мамаия или Батыея чёрные до синевы волосы, татарское лицо, ноги и бёдра, а от запорожцев – только выдающуюся грудь. Едва ли она знала, что приглянулась мне еще с первой встречи. Ночь обеспечила нам более близкое знакомство, которое не перешло в длительный роман только потому, что в колхозе им. Первого мая у неё вдруг начались ненормальные кровоизлияния, из-за чего она была отправлена в госпиталь тыла бригады.

В посёлке колхоза, состоявшем всего из нескольких деревянных домов, в которых с трудом разместились самые необходимые отделы штаба бригады, работа закипела сразу по приезде. Здесь технический отдел штаба занялся направлением работы частей бригады по созданию в тылу Донского фронта целой зоны непроходимых минных полей, как противопехотных, так и противотанковых. Оказывали мы помощь и другим инженерным бригадам и сапёрным батальонам, в какой-то мере занимающимся минированием и разминированием. В технический отдел, и в частности, ко мне, то и дело приезжали за советом представители этих соединений и частей и переписывали инструкции, написанные мною. К своему удивлению и к ещё большему удивлению знавших меня до войны, я стал заядлым минёром. Электротехник во мне проявлялся тогда только в том, что я уделял значительное внимание так называемым управляемым полям. Увлечение этими полями было присуще и другим офицерам штаба, электрикам в прошлом, начиная с командира бригады, его заместителя и помпотеха Бузгалина. Поэтому неслучайно появление в Военно-инженерном вестнике статьи об управляемых полях, за подписью примерно, пять человек. Статья эта вообще была написана мною и, как мне стало позже известно, привлекла внимание не только специалистов наших инженерных войск, но и немецких штабов.

Находясь в колхозе Первого мая, я видел, что скрытно от немцев, главным образом ночью, в направлении фронта двигались войсковые части, оснащённые мощной артиллерией. Я по-прежнему часто выезжал на фронт в различные армии с заданиями от командира бригады. В одной армии я стал свидетелем трагического происшествия. Чуть ли не возле штаба армии оказалось минное поле с противопехотными минами. Оно было ограждено колючей проволокой, но не охранялось. Каким-то образом на это поле попал сержант одной из частей и подорвался, лишившись ноги. Пытаясь выбраться с поля с одной ногой, он подорвался второй раз и лишился по локоть правой руки...

Сразу после приезда в штаб армии я побежал к этому месту и увидел, как вдрызг искалеченный и обезумевший от боли человек крутится на минном поле, умоляя офицеров и солдат, стоящих за изгородью, пристрелить его. Несмотря на ужас происходящего, я нашёл в себе силы спокойно присмотреться к минному полю и понял, что приблизиться к погибающему, а тем более вытащить его, можно только сняв несколько мин, для чего надо их обнаружить с помощью щупа. Считая себя к этому времени уже опытным минёром, я попросил принести мне какую-нибудь железную или на худой конец деревянную палку длиною побольше метра. Несколько человек бросились выполнять мою просьбу, но пока отыскивали палку, искалеченный сержант подорвался в третий раз, потеряв при взрыве и вторую руку. Так что мое разминирование с помощью примитивного щупа понадобилось лишь для того, чтобы вынести труп. Как потом мне рассказывал врач, погибший сержант был на редкость здоровым человеком, и умер только от потери почти всей своей крови.

В один из дней в наиболее просторном помещении колхоза были собраны представители всех частей бригады. На этом сборе начинж фронта А. И. Прошляков вручал ордена за отличия в боях. Вручил он и мне орден Красной Звезды. Для меня это было неожиданно, и я был всерьёз взволнован во время этой торжественной церемонии. Я всегда считал, что ордена вручаются

героям, и, не видя за собой никаких героических поступков, был смущён столь высокой оценкой моей деятельности в качестве начальника оперативной группы бригады в Сталинграде. Много мне придётся потрудиться для того, чтобы оправдать столь высокую награду, - думал, я про себя.

Накануне нашего исторического наступления под Сталинградом я получил приказание выехать в Попки с каким-то поручением. По дороге я остановился переночевать в селе, где размещались некоторые части бригады, имеющие телефонную связь со штабом бригады. В доме, который я выбрал себе для временного пристанища, меня нашла моя машинистка. Она была очень взволнована встречей и много плакала по поводу своего не проходящего недуга. Чтобы отвлечь её от грустных мыслей и предположений, я пригласил её на концерт ансамбля бригады, выступавшего в одном из больших сараев села. Этот ансамбль, добытый М.Ф. Иоффе в УОСе, я слушал впервые и отдал должное его участникам: певице Ольге, гармонистам, тещу-декламатору Чернову и другим. Моя невезучая подруга прижималась ко мне, не выпускала моей руки из своей, стараясь делать это незаметно для других. Однако с выступления ансамбля мне пришлось уйти в связи с получением телефонограммы от комбрига. Телефонограмма гласила: «Поездку в Попки отменяю. Немедленно выезжай в штаб инжвойск фронта к Прошлякову для получения специального задания».

Наскоро попрощавшись с разрыдавшейся машинисткой, я ночью выехал в штаб инжвойск Донского фронта. В штабе, попросив доложить А.И. Прошлякову о моём приезде, я радостно встретился с другом моей молодости Яном Андреевич Берзиным. Вызвавший меня начинж фронта полковник А.И. Прошляков приказал утром выехать в 65-ю армию. Он сообщил мне, что туда же утром приедет из бригады состав оперативной группы, начальником которой назначен я. Опергруппа имеет задачей обеспечить наступление 65-й армии силами частей, которые выделить бригада.

Ян Андреевич, дождавшийся, когда я выйду от Прошлякова, увёл меня к себе и почти всю ночь рассказывал о превратностях своей горькой судьбы. Напомню, что мы с ним вместе служили в 3-м понтонном батальоне, вместе ухаживали за девушками, вместе частенько выпивали, вместе воздержались в 1926 году от голосования по резолюции 15-й партконференции и уже не вместе в 1937 году пострадали за это. Я был исключён из партии и уволен из армии, а он, кроме того, провел в заключении два с половиной года. У меня тоже было что рассказать, и мы по очереди делились пережитым, сочувствуя друг другу и запивая наши истории разведённым спиртом. Так прошла почти вся ночь, и выспался я уже в машине на пути в штаб 65-й армии, благо путь оказался довольно долгим.

Штаб инжвойск 65-й армии я застал в возбуждённом состоянии. Это объяснялось не столько тем, что завтра армия переходила в решительное наступление, сколько тем, что в армию недавно прибыл новый начинж, подполковник Павел Александрович Швыдкой, и работники штаба никак не могли приноровиться к стилю его работы. Что же касается предстоящей битвы, то, по-видимому, никто на всём Донском фронте еще не понимал ее значения. Только позже выяснится, что она станет переломным моментом в войне с фашизмом и в конечном счете приведет нас к победе.

Швыдкого на месте не было, и я представился не ему, а начальнику штаба, тоже подполковнику, пожилому, весьма стройному и подтянутому, дисциплинированному и педантичному офицеру. Из довольно продолжительной беседы с ним я почувствовал, что он с трудом скрывает недовольство Швыдким. Примерно те же чувства испытывал к новому начинжу и начальник оперативного отдела, схожий по внешности и по характеру с начальником штаба. Когда же я наконец увидел Швыдкого, мне стало очевидно, что оба эти офицера никогда с ним не сработаются. Швыдкой был полной противоположностью своих непосредственных подчинённых. Он был типичным украинским дядькой, которого можно встретить в любом украинском селе, причём не в единственном экземпляре. Выше среднего роста, серьезно упитанный, если уже не толстый, с приятным, полным и добродушным лицом и с хитрыми-прехитрыми глазами, он вёл себя в штабе как дома, не признавая никаких правил и регламентаций, обычных для любого военного заведения. Мои предположения о его неизбежном конфликте со своим штабом подтвердились. Примерно через неделю ушёл от него в другую армию начальник штаба, несколько позже за ним последовал начальник оперативного отдела. За небольшой срок

произошла почти полная смена и других работников штаба. По-настоящему Павел Александрович сработался только с немолодой машинисткой штаба. Сработался так, что она стала его фронтовой женой, причём женой, очень редко сидящей за пишущей машинкой, поскольку она вмешивалась во все дела штаба. Впрочем, позднее на ряде примеров я имел возможность убедиться, что сам Павел Александрович вполне на своем месте, деловит, уравновешен и разумно смел.

А в ту нашу встречу, представившись, я был втянут Швыдким в разговор по поводу предстоящих боевых действий и затем, получив надлежащие указания, отправился на передний край к станице Мало-Клетской. Сама станица, расположенная на очень высоком противоположном берегу реки, была занята румынами. Наши войска заняли позиции на низменном берегу реки, к которому примыкал лес. 19 ноября 1942 года, день начала исторической Сталинградской битвы, для меня начался с того, что в лесу на нашем берегу реки, скованной недавно льдом, как раз напротив станицы Мало-Клетской я надел вместо кожаных хромовых сапог валенки. Эти валенки привезли мне мои коллеги по опергруппе по приказанию заботливого командира бригады. Снабженцы бригады оказались менее заботливыми. Воспользовавшись тем, что валенки выдавались не мне лично, они отобрали что-то непотребное и не имеющее права называться валенками. По сути это были просторные толстые чулки из недоброкачественной непроваленной шерсти.

Ругая снабженцев самыми ядовитыми словами, я все же был вынужден надеть обновку, так как ноги в сапогах буквально отмерзали. В лесу я встретился с командирами рот батальона нашей бригады, обеспечивающего наступление на Мало-Клетскую, и узнал, что ночью в минных полях противника на крутых склонах занятого им берега были сделаны проходы. Минные поля эти по докладам командиров рот состояли из металлических противопехотных прыгающих мин осколочного действия(S-mi-35).

— Мины вмерзли в землю, - сказал я. — Как же минеры вывинчивают усики взрывателя? По-моему, это невозможно.

— Проще пареной репы! — с улыбкой доложили мне командиры рот. — Минеры находят мину миноискателем, мочатся на ее взрыватель с тремя усиками, а уж затем вывинчивают.

Посмеявшись вместе с командирами, я внутренне восторгался находчивостью наших минеров. Воистину испокон веков русскому солдату была присуща исключительная изобретательность!

— Ну и какой вывод из найденного способа разминирования вы сделали? — спросил я.

— Никакого... какой тут может быть вывод?

— А такой, что перед атакой минерам нужно как можно больше выпить воды. Практикуйте также привлечение пехотинцев к разминированию немецких мин вашим способом, — добавил я.

Во время исключительно мощной и продолжительной артподготовки я вместе с минерами продвинулся по лесу к самой реке. Вдруг мы увидели, что какая-то повозка пехотной части заехала на наше противопехотное минное поле, установленное на просеке.

— Подожди, друг! Мы сейчас разминируем! — закричали минеры.

— Некогда мне ждать! — крикнул ездовой. — Таких мин я не боюсь! — и с этими словами он поехал прямо по минному полю. Несколько мин, скорее всего 75-граммовые, типа ПМДЦ, взорвались под колесами повозки и под ногами лошадей, не причинив ни ему, ни им заметного вреда. «Таких солдат победить невозможно» — подумал я, глядя вслед ездовому.

Артподготовка выгнала из Мало-Клетской румын. Пехота, поднимавшаяся в атаку, а вместе с ней минеры, заняли окопы на вершине крутого берега реки без всякого сопротивления со стороны противника. Оставляя минеров для разминирования склона, я шел вдоль окопов. Вдруг я почувствовал, что наступил правой ногой на что-то твердое и острое. Мина! Застыв на месте и ожидая с секунды на секунду взрыва, я ощущал все три усика взрывателя, проткнувшие подошву моего горе-валенка и упершиеся в мою обернутую портянкой ступню. Да, это была мина S-mi-35. Она не взрывалась. Не дыша, я вынул ногу из валенка и с еще большей осторожностью снял сам

валенок со злополучных усиков, торчавших из земли. Затем, осторожно стряхнув с них снег, я воспользоваться способом, открытым накануне нашими минерами, после чего вывернул взрыватель из мины и извлек из земли и саму мину. Окончив эту работу я пошел осматривать покинутые румынами окопы, шепча самые теплые слова благодарности в адрес снабженцев бригады.

В определенных условиях плохое может оказаться хорошим, такова диалектика, – философствовал я.

Заняв Мало-Клетскую, минёры в отличие от получивших короткий отдых пехотинцев продолжали напряжённо трудиться, находя немецкие минные поля и снимая с них мины, отыскивая в домах и погребках мины-сюрпризы и ликвидируя их. Командир батальона минёров, очевидно, в избытке симпатии к командующему 65-й армией товарищу Батову, даже взялся отрыть и обустроить для него командный пункт. КП у него получился на славу, недаром по своей подготовке и основной службе комбат был офицером УР УОС. Батов при мне высказывал восхищение этим КП, но так и не воспользовался им, поскольку его армия стремительно и безостановочно продвигалась навстречу 62-й армии товарища Чуйкова. В Мало-Клецкой я обосновался в довольно уютной землянке, занимаемой до меня румынским офицером. От румынского офицера, бежавшего, как видно, слишком поспешно из землянки, остались предметы первой необходимости, столовая и чайная посуда, и даже картины на стенах. Остался в землянке и кот, исправно нёсший службу по уничтожению мышей, приносящих в то время большой вред, поскольку заражали войска как наши, так и, по-видимому, противника туляремией. Из Мало-Клецкой я несколько раз выезжал в места, где летом шли ожесточённые бои с немцами, и часто наткнулся на трупы наших солдат, которые не удалось захоронить при отступлении и которых не прибрали и немцы. Трупы, пролежавшие много месяцев на воздухе, мумифицировались и представляя собою обтянутые серой кожей скелеты, одетые в выцветшую одежду. Даже беглый осмотр этих мест показал, что кому-кому, а минёрам здесь предстоит много работы.

Из населённых пунктов, которые 65-я армия прошла с боями навстречу 62-й армии, запомнилось большое селение Венцы. Во взятии Венцов, очевидно, участвовали танковые части, ибо во многих домах села, куда я заходил в поисках себе жилища, я наталкивался на стонущих танкистов, обожжённых в бою. Воистину, думал я, на войне нет лёгких военных специальностей. Минёры калечатся на минах, оставаясь, если не погибнут, без рук и ног. Танкисты же, если остаются живыми, то зачастую слепнут от ожогов. До войны я никогда не думал, что танки воспламеняются и горят, так будто сделаны из дерева.

В Венцах я поселился в доме, который до меня занимал командир немецкой дивизии. Его забытая мною фамилия часто встречалась в газетах наряду с Паулюсом, из чего можно заключить, что он, убежав от нас в Венцах, оказался в плену, как и Паулюс, и так же, как и фельдмаршал, сделал для себя правильные выводы. Прежний обитатель дома по-немецки фундаментально оборудовал своё жилище и убежал из него, очевидно, с ещё большей поспешностью, чем румынский офицер из землянки в Мало-Клецкой. В доме всё оставалось так же, как при немце. Во дворе дома была оборудована уборная с отверстием в двери в форме сердечка, одна из больших комнат в доме была приспособлена под ванную со сложным устройством для подогрева воды. В других комнатах висели многочисленные картины или скорее графика в технике акварели и пастельных карандашей, по-видимому, творчество художника дивизии. Не без любопытства рассматривая эти работы, я пришел к выводу, что немцы не только соскучились по своим немкам, но и что они до предела устали от войны и только и мечтают о том, как бы выбраться отсюда. Большинство картин были серийными. Серия «Наши мечты» была представлена такими сюжетами: немецкий солдат обнимает толстозадую блондинку-супругу, он же в белоснежном белье отдыхает возле ванной, он же за роскошно сервированным столом вместе с женой, дочкой и сыном уплетает сосиски с капустой. В серии «Чего я бы никогда не хотел видеть» были такие картины: на грязной-прегрязной дороге немцы вытаскивают застрявшую автомашину. По постели с лежащей на ней немцем ползут два громадных клопа. На другой картине вместо клопов изображены вши... Едва ли все это имело хоть какую-то художественную ценность, разве что свидетельствовало об аккуратности и добросовестности исполнителя.

Не помню где, в Венцах или в Мало-Клетской, я познакомился с дивизионным инженером 27-й гвардейской стрелковой дивизии полковником Роциным. Роцин чем-то напоминал мне Дон-Кихота. Он был высокого роста, не в меру худощав, немного сутуловат, с умными, смеющимися глазами. До войны состоял в мозговом центре, созданном Кагановичем в период, когда тот был наркомом путей сообщения. Весьма эрудированный по многим отраслям знаний, с изощрённым умом, способным найти выход из любого положения, Роцин любил почти в любом нашем разговоре подчеркнуть, что он гвардеец и служит в гвардейской дивизии. Рассказал он мне и о том, как в одной станице вблизи Мало-Клецкой он случайно встретился со старым донским казаком-гвардейцем. Придя к казаку на постой, он разместился в одной из комнат казачьего дома. Хозяин, узнав, что Роцин - гвардии подполковник, тут же заставил жену жарить яичницу с ветчиной, а сам сходил куда-то в чуланчик, принёс большую бутылку самогону, а затем слезил в погреб за солёными огурцами и грибами. Выставив еду и питьё на стол, он уважительно пригласил Роцина отужинать вместе с ним. «Я хочу посмотреть, что стоят теперешние гвардейцы, - сказал старый казак. - Ведь я тоже когда-то служил в гвардии. И даже имею награду от царя. Царь наградил меня за лихие дела в войне с турками». С этими словами он отпер сундук, стоящий в комнате, и достал оттуда шашку. Обнажив шашку, он предложил прочитать надпись на её лезвии. Роцин прочёл: «За то, что разрубил турка одним ударом от шеи до ж...ы». Желая проверить принадлежность к гвардии по умению пить старик угостил Роцина великолепным самогоном без запаха и с большой крепостью. Роцин не подкачал - выпить он любил и умел.

Начиная с боя под Мало-Клетской мне часто приносили найденные в карманах убитых румын а затем преимущественно немцев документы и различные печатные материалы. Среди них первое место занимали, что называется, непристойные фотографии. К примеру, на одной из таких фотографий были молодые немцы, солдаты или офицеры, в голом виде с кинжалами в руках. На другой немец-солдат, сняв штаны и присев на корточки, оправлялся, обнажив толстую задницу. Около него стоял другой солдат, наигрывающий на аккордеоне. Вокруг них стояло ещё несколько солдат, аплодирующих с радостными улыбками на лицах. Я абсолютно убежден, что нашим солдатам даже в голову не пришла бы мысль фотографироваться подобным образом. Две эти фотографии я послал Илье Эренбургу, и, кажется, он упомянул их в одной из своих едких статей о немцах.

В дальнейшем стремительном продвижении 65-й армии навстречу 62-й, как и раньше, дорогу стрелковым частям прокладывала артиллерия и танки. Поэтому можно было часто слышать, что теперь пехота представляет собою оккупационные войска. «Пехота не ведёт в этой войне бой, она только оккупирует территории, а немцев гонят артиллеристы и танкисты», - говорили офицеры различных рангов. И действительно, в этот период Сталинградской битвы пехота потерь не несла. Не имели их и минёры бригады, всегда шедшие не только с первой цепью стрелков, но даже впереди её.

Возле одного из населённых пунктов, только что оставленном немцами, я увидел немецкое военное кладбище. Строгое и внушительное, оно производило сильное впечатление не только количеством могил, но и своим оформлением. Кладбище было ограждено забором из дикого камня. На восточной его окраине был поставлен большой крест над могилой какого-то немецкого генерала, справа и слева от него были симметрично расположены несколько меньшего размера кресты над могилами офицеров. Далее на запад тянулись стройные ряды крестов над солдатскими могилами, и большие кресты как бы возглавляли это шествие. На каждом кресте были красивой немецкой готикой написаны имя, фамилия и дата смерти воина. Все кресты были деревянными, солдатские - с надетыми на них касками...

Долго еще я не мог освободиться от горьких размышлений о том, как мы сами относимся к своим мёртвым, погибшим в борьбе с вероломным врагом, да и вообще... Ведь чуть ли ни в километре от описанного кладбища моя автомашина, как и тысячи других до меня и после меня, спокойно проехала по мёртвому телу, судя по комбинезону, советского танкиста, лежащего поперёк колеи дороги, - из-за потока техники мы не могли остановиться. Кстати, такого рода размышления преследовали меня всю жизнь. Почему мы так отвратительно относимся к мёртвым? Мы, живущие в передовой социалистической стране, где то и дело, когда надо и когда не надо,

твердят: «Никто не забыт. Ничто не забыто». Почему в капиталистических странах, по крайней мере, в тех из них, где мне пришлось потом побывать, я видел совершенно другое отношение к павшим? Эта мысль не выходила у меня из головы, когда я видел, что немцы, обречённые на гибель в окружённом Сталинграде, уже не имеющие ничего под рукой для изготовления крестов, всё же продолжали хоронить своих убитых, ставя на аккуратных могилах закупоренные бутылки с клочком бумаги, где были отчетливо написаны имя, фамилия и дата смерти лежащего в могиле. Я возвращался к этой мысли и когда слышал от жителей сёл и деревень, освобождённых нами от оккупантов, что немцы заставляли их зарывать мёртвые тела красноармейцев так же, как и своих солдат. Я было начал даже считать, что хамское, если не сказать, преступное отношение к мёртвым вообще характерно для славян, но побывав в Болгарии, Югославии и Чехословакии, увидел, что там относятся к мёртвым и кладбищам даже бережней и заботливей, чем немцы.

В той нашей поездке, вслед отступающему противнику, мне пришлось увидеть и немало немецких солдат, убитых буквально несколько минут назад и потому, естественно, никем не захороненных. Возле одной такой группы убитых немцев, валявшихся в позах, в каких они встретили смерть, я попросил шофера остановиться. Мое внимание привлек труп одного немецкого солдата - он выделялся среди других тёмно-рыжими волосами и белоснежным лицом. Лежал он на животе, раскинув руки, как бы вцепившись в землю и прижавшись к ней правой щекой. Он был очень молод. Глядя на его чудесные шевелящиеся от позёмки волосы и прекрасное лицо, на котором ещё не было знаков смерти, я, понимая всю закономерность этой смерти, все же не мог избавиться от охватившей душу грусти. Да, мне было безмерно жаль этого юношу, которого в иных обстоятельствах могла бы ждать совсем иная судьба. Предназначение человека вовсе не в том, чтобы убивать себе подобных, а чтобы жить и давать жизнь тем, кто будет после. К сожалению, эта простая истина так и не усвоена человечеством.

Тем вечером я вместе с товарищами по опергруппе остановился переночевать в одном из сел по пути нашего следования. Хозяйка дома, типичная шолоховская Аксинья из "Тихого Дона", на ужин, изготовленный ею из данных нами продуктов, угостила нас отличной самогонкой и соленьями из своего погреба. Она постелила мне на своей двуспальной кровати свежее прельщающее свою чистотой бельё, несмотря на все мои протесты и уверения, что кровать мне не нужна, и что у меня всегда с собою собственное постельное бельё. Когда я все же улегся в двуспальную кровать, ощутив всю прелесть свежей постели, и положил на полу около кровати папиросы и спички, я увидел, что хозяйюшка стелит себе на полу рядом со мной. Несколько удивившись этому обстоятельству, я решил, что она просто хочет избежать приставаний со стороны моих более молодых офицеров или наших еще более молодых ординарцев, и что, видя мою седину, полагается на мою добропорядочность. Переполненный впечатлениями минувшего дня, я не мог сразу уснуть и решил закурить. Потянувшись в непроницаемой темноте за папиросой и спичками, я нечаянно коснулся плеча хозяйки, и в ответ на это прикосновение услышал ее шёпот: «Подожди, пока уснёт мама. Я тогда сама приду». Однако, выкурив папиросу, я сразу уснул как убитый, а проснувшись уже в свете наступившего дня, не обнаружил в комнате ни хозяйки, ни её постели.

Кстати, не только эта "Аксинья" и её престарелая мать, но и вообще донские казачки относились к нашему приходу весьма радушно. Лишь от Харченко, на которого, как правило, женщины засматривались в силу его мужской привлекательности, я однажды услышал нечто иное. В одной станице, когда он вышел из машины, на него явно ненавидяще взглянула молодая красавица казачка. Когда он спросил ее: «Что это вы смотрите на нас с такой ненавистью?» она зло ответила: «Чёрт вас принёс. Зачем вы вернулись? У меня при немцах была бы такая счастливая судьба, а теперь всё рухнуло».

Под Песковаткой, где румыны были не только окончательно разбиты, но и полностью деморализованы, я неожиданно застал в отведённом мне небольшом домике горько плачущего румынского солдата, который, видно, где-то прятался до моего появления. Сказав ему, что он должен радоваться, а не плакать, раз остался жив, я направил его с ординарцем на пункт сбора военнопленных. Выйдя на улицу и постояв у счетверённых пулемётов системы "максим" на установке для зенитной стрельбы, я стал понаблюдать за их безрезультатной стрельбой по

самолётам противника, которые изредка появлялись над селом, а затем из любопытства отправился на передний край. На переднем крае, не окопавшись, лежали на снегу наши пехотинцы, и рядом с ними стояли тяжёлые орудия артиллеристской батареи. Тут же была и стереотруба, в которую мне разрешили посмотреть. Пригнувшись к окуляру, я чуть ли ни рядом с собой увидел немецкий танк и трех танкистов, ковыряющихся возле него. После моего замечания, что надо бы подбить этот танк, одно из орудий несколько раз по нему выстрелило. В танк не попали, но танкистов заставили забраться в него и быстро уехать.

В это время вдруг началась беспорядочная ружейная и автоматная стрельба с нашей стороны и со стороны противника. Оказалось, что стреляли по зайцу, который откуда-то выскочил на нейтральную полосу и теперь несся вдоль нее. В стереотрубу я хорошо видел зайца и был по-детски рад, когда он сумел выбраться из зоны обстрела и скрыться целым и невредимым. «Вот так и я на войне не погибну», - почему-то подумал я.

В этот же день я переехал из Песковатки в хутор Вертячий, где с моей, пополненной по приказанию комбрига, опергруппой разместился в двухэтажном деревянном доме. Пополненная опергруппа кроме меня, включала капитана Асонова, майора Титкина, сержанта Ворону, водителя автомашины Сидоренко и нескольких ординарцев. К Асонову, исполняющего обязанности начальника штаба опергруппы, я поначалу относился настороженно, поскольку он пришёл в бригаду из УОСа Прусса, но затем, ближе познакомившись, сдружился с ним, и наша дружба продолжается до сих пор. Константин Иванович, то есть Костя, совершенно безукоризненно и своевременно оформлял многочисленную документацию опергруппы, в случае надобности смело включался в боевые операции, связанные с опасностью для жизни, и отличался исключительными хозяйственными способностями. Благодаря его повседневным заботам опергруппа имела в надлежащем порядке автотранспорт, подходящее жилище, была в избытке обеспечена продуктами и даже водкой. Сам Костя был всегда бодро настроен и весел.

Майор Титкин, которого я знал ещё по академии Будённого сначала как слушателя, а затем как сотрудника академии, появился в бригаде позже меня. Он был на редкость дисциплинированным человеком, способным выполнить любое приказание, вне зависимости от его сложности и опасности, и этим напоминал мне японского самурая. По характеру он был несколько мрачноват и немногословен. У него был только один неприятный недостаток - его, особенно в полевых условиях, почему-то очень любили вши и заводились на нем в таком устрашающем количестве, что время от времени я вынужден был отправлять его во второй эшелон бригады, чтобы он там отмылся, продезинфицировался, и коренным образом освежил всю свою одежду, включая постельные принадлежности.

Сержант Ворона помогал Асонову как писарь и был по сути дела его повторением, обладая всеми его сильными чертами. Я был искренне рад встретить его после войны уже в качестве офицера. Водитель автомашины Сидоренко был бесценен тем, что в любых условиях его машина была на ходу. Оптимист, уверенный в своём бессмертии, он своими бесхитростными рассказами о своей жизни и своей семье помогал мне в частых поездках скоротать время. Несколько ординарцев из опергруппы были молодыми солдатами, воюющими не за страх, а за совесть. Моим ординарцем был крымский татарин Сулейманов. Своей деликатностью, чистоплотностью, умением вести моё несложное хозяйство и отсутствием страха в боевой обстановке он покорила меня. Я искренне сожалел, когда его вместе с другими крымскими татарами изъяли из армии. Не знаю, прав ли был Сталин, решив выселить татар из Крыма, что было сделано безжалостно и свирепо. Конечно, об этом, как и о многом другом, ныне умалчиваемом, в своё время правдиво поведают история, но мне, уверен, дожить до этого не удастся.

Разместившись в двухэтажном доме, опергруппа заняла его вместе со штабом одного из батальонов бригады, включённого в опергруппу. Комбатом этого батальона был офицер Ильин. Высокий, с правильными чертами лица, крепкий мужчина моих лет, он с первой встречи не понравился мне своим капризно-презрительным взглядом на окружающих. Впоследствии, когда я стал свидетелем того, как он афиширует свои близкие отношения с врачом его батальона, молодой, статной и весьма душевной сибирячкой, моя неприязнь к нему усилилась. Ещё больше я его невзлюбил, когда поближе узнал о его взаимоотношениях с подчинёнными ему офицерами, в большинстве своём способными молодыми людьми. Ильин, например, отобрал у них все трофеи,

попавшие к ним в период Сталинградского наступления. В основном это были безделушки в виде портсигаров, выбрасывающих при нажатии кнопки сигарету или, к примеру, зажигалок в виде голой женщины, у которой при нажатии кнопки задирались ноги и между ними вспыхивало пламя... Всё это комбат, к огорчению молодежи, забрал себе. У кого-то он конфисковал и серебряный саксофон и повесил себе на стенку. Этот саксофон по моему совету у него отобрал М. Ф. Иоффе и передал в духовой оркестр бригады.

Комбата Ильина Иоффе взял совсем недавно, выпросив его в отделе кадров фронта, и, конечно, совершил ошибку, ибо как офицер Ильин не имел никаких положительных качеств. Ошибку Иоффе несколько позже, ещё в бытность бригады на Донском фронте, исправил Харченко. Совершенно самостоятельно, во всяком случае, без воздействия с моей стороны, он добился откомандирования Ильина из бригады.

На занимаемый мною с Ильиным двухэтажный дом, кажется, единственный такого размера на хуторе Вертячий, зарились многие. Однажды к нам явились квартирьеры танкового корпуса генерала Пушкина и хотели нас выселить под тем предлогом, что в нём проездом будет жить генерал. Переговоры с офицером-квартирьером вёл я. Я ему заявил, что дом освобожу только после личной беседы с самим генералом, а сейчас все, что мы готовы сделать, это освободить для него лучшую комнату в доме.

- Насильно же выселять нас лучше не пытайтесь. От вас вместе со всеми квартирьерами ничего не останется, – разъяснил я свою позицию представителю корпуса.

Так что выселять нас действительно никто не решился. Приехавшего генерала Пушкина встретил я. Невысокого роста, худощавый и очень скромный, он произвел на меня самое приятное впечатление. Генерал остался очень доволен отведённой ему комнатой и на моё предложение поужинать с офицерами инженерной бригады с готовностью согласился. О выселении нас из дома ему и мысль не пришла в голову. Во время ужина, сопровождавшегося тостами за дружбу танкистов и минёров, генерал рассказал о своей встрече в Москве, откуда он ехал в корпус, со Сталиным. «Сталин крепко постарел и стал нервным. Во время разговора со мной он всё время курил, вернее, сосал трубку. Он набивал её табаком, добытым из папирос «Казбек», зажигал её, раскуривал, а потом задувал. Трубка гасла, а он её сосал, пока не разжигал снова», - рассказывал генерал. Сталин щедро откликнулся на просьбу Пушкина дать побольше танков для корпуса и дал ему столько, сколько тот просил, но обязал его ни в коем случае не позволить немцам пробиться из Сталинграда к своим.

В Вертячем наша опергруппа оказалась по соседству со штабом инжвойк 65-й армии, что было как нельзя кстати. С начинжом Швыдким я виделся ежедневно и вместе с ним ездил в дивизии армии, где ближе знакомился с дивизионными инженерами и сапёрными батальонами. В первые дни пребывания в Вертячем у меня, как и у других офицеров опергруппы, появилось несколько часов свободного времени, и это время я использовал для пополнения своих знаний в немецком языке. Один из офицеров штаба Швыдкого дал мне грамматику немецкого языка, и здесь же, в Вертячем, в одной из землянок, которую прежде занимали немецкие офицеры, я нашел немецко-русский словарь и немецко-русский разговорник. Изучению немецкого языка способствовало и то, что в Вертячем в мои руки попадало много интереснейших немецких документов, которые требовалось переводить.

Незнание немецкого языка иногда приводило к курьезам. Помню забавный случай на этой почве. Среди имущества, брошенного немцами при поспешном бегстве, было много парфюмерии. Просто поразительно, какое обилие душистого мыла, пудры, духов, одеколонов, различнейших кремов и душистой воды разных видов и разного назначения находилось не только в чемоданах офицеров, но даже в вещевых ранцах солдат. Как-то девушки из батальонов нашей бригады пришли ко мне с просьбой перевести с немецкого языка на русский надписи на тюбике с кремом. «Это такой чудеснейший крем! - говорили они, передавая мне ещё не начатый тюбик. - Он делает кожу такой нежной и мягкой, что вы даже представить себе не можете!» Взглянув на тюбик, я увидел, что на нём крупными буквами начертано «Kreme fur preservativen», и про себя прочитал краткий нехитрый текст о правилах применения этого крема.

- Так значить переводить? – спросил я.

- Переводите, пожалуйста. Хотя бы приблизительно.

- Перевожу точно: первое слово «kreme» так и переводится, как «крем». Значит, вы, действительно, пользуетесь, кремом. Второе «fur» по-русски означает «для». А третье слово, я думаю, вы поймёте и без перевода - «preservativen».

- Понимаем! – стали смущенно посмеиваться мои просительницы.

- Перехожу к переводу способа употребления...

- Это не переводите. Нам теперь и так всё понятно. Спасибо за перевод...

От первых дней в Вертячем остался в памяти концерт московских артистов, данный в самой просторной комнате занимаемого нами дома. Трудно, конечно, оценить подлинное качество выступлений москвичей, но в обстановке фронта, после недавнего боя, они произвели на нас большое впечатление. После концерта я пошёл вместе с Харченко в столовую, чтобы посмотреть, как и чем угощают артистов, и искренно одобрил свирепый разгон, который он устроил работнику политотдела Дрищенко за то, что тот не выполнил указаний насчет сервировки стола и самих блюд позднего ужина. Больше я никогда не видел, чтобы всегда спокойной и выдержанный Виктор Кондратьевич так неистово ругался.

В этот приезд Харченко я был с ним на докладе начинжу Донского фронта полковнику Прошлякову, к которому я питал большую симпатию. В далёком прошлом он был понтонёром, и я встречался с ним в лагерном сборе понтонного батальона на Трухановом острове в городе Киеве. Несмотря на внушительный возраст, Прошляков был строен как тростинка, что при его высоком росте и худощавости выделяло его среди офицеров. В разговорах он был весьма немногословен и сух, но явно чувствовалось, что он добрый и, пожалуй, даже сентиментальный, много размышляющий человек. Доклад мой превратился по сути дела в беседу, в которой активное участие принимал и Харченко.

Идя от Прошлякова, я почему-то стал мысленно сравнивать его с Иоффе и Харченко и при этом отдавать предпочтение им. Возможно, я заблуждался, но в то время я был убеждён, что все начинжи как Сталинградского, так и Донского фронтов, как и армий, входящих в них, с которыми мне приходилось общаться, менее талантливы и менее находчивы, чем мои прямые начальники, и был доволен, что воюю под их непосредственным руководством.

После соединения 62-й и 65-й армии, замкнувших кольцо вокруг сталинградской группировки противника, несколько восточнее Вертячева установился более или менее стабильный передний край 65-й армии. Армия вела каждодневные изнурительные бои с немцами. Бои обычно кончались для нас успешно, но теперь продвигались мы вперёд весьма незначительно, платя за это большими потерями. В некоторые дни 27-я гвардейская стрелковая дивизия, вблизи которой в балке Вертячей я со своей опергруппой занял просторную землянку, теряла в бою до обеда столько личного состава, что вынуждена была прекращать наступление до следующего дня. На следующий день, получив свежее пополнение, главным образом из киргизов, таджиков, казаков и узбеков, дивизия снова могла наступать, но только до обеда.

В 27-й гвардейской дивизии, ведущей активные боевые действия, я, что называется, дневал и ночевал, и в этот период по-настоящему сдружился с уже упоминавшемся мною дивизионным инженером полковником Роциным. Поначалу Роцин относился к батальонам нашей бригады, проводящим минирование и разминирование перед передним краем дивизии, а, следовательно, и ко мне, недоверчиво и настороженно. В свою очередь и я имел против него некоторые предубеждения. Дело в том, что все дивизионные и полковые инженеры, с которыми я прежде сталкивался, обычно были весьма придирчивы ко всему, что касалось обслуживающих их частей 16 ОИБСН и при этом весьма снисходительны к своим собственным инженерным частям. Часто мне приходилось слышать, что наши солдаты и офицеры уступают их сапёрам и по дисциплине, и

по внешнему виду и, наконец, по умению производить минирование и разминирование. Недоверчивость Рощина к действиям наших минеров выразилась однажды в том, что как-то поздно вечером, когда я находился в его очень тесной землянке, в неё через узкий вход влез его сапёр - в руках у него была противотанковая мина ЯМ-5. Увидев, что мина снаряжена, я чуть не остолбенел и, приказав сапёру не двигаться, выдернул из нее МУВ (минный ударный взрыватель) с детонатором. Оказалось, что сапёр снял эту мину с минного поля, установленного батальоном Ильина, и нёс в таком виде на расстояние не менее 500 метров к землянке Рощина. Сделать ему это приказал сам Рощин, чтобы проверить добросовестность минёров бригады в установке минных полей. По словам Рощина, уже были случаи, когда очень быстро установленные нами мины оказывались без МУВ с детонаторами.

Когда сапер вышел из землянки, я дал волю своему возмущению, назвав поступок Рощина бесчеловечным самодурством.

- Если нужно, я сам проверил бы правильность установки мин непосредственно на минном поле, а не подвергал опасности солдата, - ругался я.

Рощин молча выслушал мой гневный монолог, хотя был старше и по званию, и по должности, и по возрасту и не стал возражать. Как ни странно, именно эта размолвка с ним и послужила основой для нашей будущей дружбы.

С Рощиным я участвовал не только в делах, связанных с боями, но зачастую обедал или ужинал. Вместе наезжали мы и в саперный батальон 27-й дивизии, где каждый раз я обращал внимание на одного молодого офицера, отличавшегося своей лихостью, молодечеством и жизнерадостностью. Оказалось, что причиной этому его любовь к врачу батальона, очень маленькой, молодой и приглядной женщине, с которой я его часто видел. А в конце ноября мы хоронили эту милую женщину - она погибла накануне на наших глазах от осколков снаряда, возможно, даже нашего, когда во время наступления вместе с пехотой мы шли втроем, она, Рощин и я, вслед за огневым валом артиллерии. На похоронах лихого офицера было не узнать. Ничего не осталось ни от его жизнерадостности, ни от его лихости, ни от молодечества - он хоронил свою возлюбленную, свою фронтовую подругу, которая, несомненно, стала бы ему подругой на всю жизнь, если бы не погибла на войне.

После поминок по врачу, организованных в землянке командиром сапёрного батальона, Рощин вдруг сказал мне:

- Юра, сегодня я почувствовал, что мне тоже не уцелеть, как и Надежде (так звали врача). Поэтому прошу тебя, когда кончится война, обязательно зайди в Москве к моей жене и расскажи ей обо мне, расскажи, как мы жили в балке Вертячей, о чем говорили и о чём думали. Возьми с собой пол-литра водки и выпейте в память обо мне.

Я тогда посмеялся над его предчувствиями и попытался отвлечь его от грустных дум, но если это и удалось, то только благодаря обильной выпивке. А через несколько дней, когда я находился уже в другой дивизии, я узнал горькую весть о смерти Рощина. Как рассказывали мне, он, бедняга, погиб от осколка немецкой мины шестиствольного миномёта. Осколок ударил его в подбородок и начисто оторвал ему всю нижнюю челюсть. От таких ранений тогда не вылечивали, и он умер в больших мучениях. После войны я не смог выполнить просьбы Рощина, и от этого по сей день у меня осталась горечь на душе. Записной книжки с адресом его жены, носящей не его фамилию, я лишился на Третьем украинском фронте, а фамилию её напрочь забыл.

Из времени пребывания в 27-й гвардейской дивизии мне ещё запомнилось, как по указанию комдива Меркулова я должен был срочно заминировать две высоты. На карте в штабе дивизии мне обозначили эти высоты, находящиеся позади переднего края дивизии и показали их на местности. Вместе с комбатом одного из батальонов бригады, который уже успел дать двум своим ротам соответствующие распоряжения по минированию я и мой подчиненный Титкин отправились на эти высоты. Выбирая на одной из них место для установки минных полей, я вдруг осознал, что эта совсем не та высота, которую мне указали в штабе дивизии. Вместе с Титкиным и комбатом мы развернули карту, стали сверять её с местностью и пришли к однозначному выводу, что высоты, которые хочет минировать штаб дивизии, находятся дальше, в руках немцев.

Когда я, отменив минирование, доложил о случившемся в штабе дивизии, штабники поначалу начали срамить меня за топографическую неграмотность. Но затем после выезда на местность, разобравшись, в чём дело, стали искать выход из создавшегося положения. Оказалось, большой конфуз в том, что дивизия уже донесла в армию, а армия - в штаб фронта о взятии в одном из боёв этих злополучных высот. Мне говорили, что, узнав об ошибке, командир дивизии был крайне разгневан и кричал: «Офицеры инженерной бригады – культурные и грамотные люди, а у меня в штабе – неграмотные разгильдяи. Что хотите, то и делайте, но завтра высоты должны быть взяты, и доносить об этом не будем. Донесём, что бой шёл по отражению контратак противника».

Указанные высоты были действительно взяты — причем, втихую, если можно так сказать о боевых действиях. Избегая утечки информации, батальоны нашей бригады к минированию не привлекали - обошлись своими силами.

Меня всегда поражала находчивость наших советских солдат, и подтверждение этого встречалось буквально на каждом шагу. Как-то, идя на доклад к одному из командиров дивизии 65-й армии, я с удивлением встретил по дороге несколько солдат с совершенно чёрными лицами. Спросив их, не негры ли они случайно, я услышал в ответ: «Дрова у нас дают много копоти, а печурка в нашей землянке дрянная, вот мы и закоптились». Заинтересовавшись, я заглянул в эту землянку посмотреть, какими дровами пользуются её обитатели, я увидел, что они сжигают в железной печурке не дрова, а тол. Так я, не имеющий специального минёрского образования, узнал, что тол горит совершенно безопасно, давая много огня и тепла и громадное количество очень густой, чёрной и жирной копоти.

С изобретательностью по части добывания тепла в донских степях, где топят, как правило, соломой или кизяками, я еще раз столкнулся, когда после боя возвращался в свою землянку. По пути я набрел на группу оживлённо разговаривающих солдат - они грелись у костра. Костёр представлял собой старую повреждённую шину грузовой немецкой машины, которая полыхала невысоким, но жарким пламенем. Некоторые из усевшихся вокруг огня солдат даже сушили портянки. Неподдалёку от этого необычного костра стояла небольшая палатка, возле нее, борясь с холодом, прыгала с ноги на ногу медсестра. Разговорившись с нею, я узнал, что она оказывала медицинскую помощь раненым в только что закончившемся бою, а сейчас ждёт, пока за ней и её имуществом приедет транспорт.

- А если не приедет, что вы будете делать? Не страшно вам тут будет одной? - спросил я.

- Конечно, страшновато. Оставайтесь со мной, тогда будет не страшно. Правда, у меня тесно в палатке, много вещей. Но ничего, мы ляжем в два яруса, - ответила мне шустрая медсестра. У неё оказалось полкотелка спирту, и мы вдвоем, вылив спирт в чайник с водой, выпили его полностью до прибытия её двуконной повозки.

Минёры всех 11 подразделений бригады отлично знали как советские, так и немецкие мины и знали, что нужно немедленно докладывать обо всём новом, с чем они встречаются. Поэтому я не был удивлён, когда в донесении одного из батальонов, действующих в 65-й армии, я прочитал: «Перед передним краем обороны противника обнаружены противотанковые минные поля с неизвестными, ранее не встречающимися минами».

Выезжаю без проволоки в этот батальон. В землянке командира батальона мне сразу показали эту мину, лежавшую в заряжённом состоянии в углу землянки, мимоходом сообщив, что солдаты дали ей название «тоска минёра».

Что же это была за мина. Она оказалась металлической. «Это уже хорошо, - думаю. – Такие мины легко искать миноискателями, не то, что деревянные или пластмассовые». Будучи чечевицеобразной, мина своим внешним видом походила на резиновую круглую грелку для воды, с накидной навинтованной пробкой. Или, если хотите, на черепаху с пробкой на брюхе. Между верхней и нижней половинами мина имела наподобие гармошки мехов из мягкого металла. Под

пробкой, как потом выяснилось, находилось взрывное устройство, содержащее в себе 4 взрывателя и 4 детонатора. Эта мина, как и большинство противотанковых мин, была нажимного действия. Поэтому она имела внутри пружину, распиравшую её половины.

На меня эта мина не произвела особого впечатления. Мина как мина, даже несколько хуже тех мин противника, какие я уже хорошо знал. Попросив оставить меня в землянке одного, я сходу её разрядил и не мог понять, почему минёры дали ей такое пессимистическое название. "Тоже мне «тоска минёра»... Тосковать здесь не о чем", - подумалось мне. Когда я высказал своё недоумение минёрам, ведущим наблюдение за минными полями противника, и стал говорить о простоте её разрядки, они мне заявили: «Придите на минное поле, сами увидите. С этими минами мы наплачемся, когда прикажут их разминировать. Это не просто тоска, а смертная тоска минёра».

Вечером под прикрытием темноты я пробрался с одним из минёром на минное поле противника и убедился, что разминировать его можно только путём взрыва каждой из мин. Дело в том, что эти мины были установлены немцами или румынами пробками или взрывателями вниз и вмёрзли в землю. Если не взрывать, то каждую такую мину пришлось бы выковыривать из земли, как изюминку из чёрствой булки. На это понадобилась бы уйма времени, и наверняка не обошлось бы без серьёзных жертв, поскольку противник охранял минные поля не только артиллеристским, но и пулемётным и автоматным огнём, а многие мины устанавливал на неизвлекаемость. Даже если бы пришлось разминировать только проходы в минных полях для наших танков, гибели саперов было бы не избежать. Вот уже действительно смертная тоска, а не мины.

Я знал, что очередное наступление армии начнётся не позже, чем через два-три дня, и по прибытии с переднего края вместе с комбатом организовал для подрыва этих мин изготовление самодельных удлинённых зарядов, представлявших собою деревянную рейку с привязанными к ней 200-граммовыми толовыми шашками. Затем я отправился к артиллеристам, чтобы уточнить время начала артподготовки, и к танкистам, чтобы определить проходы в минных полях. Вместе с тем я не переставал думать о том, как бы разминировать злополучные мины другим, менее шумным и менее канительным способом. Так ничего и не придумав, с утра я снова пошёл на передний край к минёрами. «Может быть, они за ночь что-нибудь удумали», - крутилась в голове мысль. И пошёл не зря. Нашёлся-таки солдат, который внёс такое предложение по разминированию этих злосчастных мин, что их вскоре начали называть «Привет минёру». Он предложил разрезать мину по мехам из мягкого металла, соединяющим её половины, простым сапёрным ножом. Своё предложение он тут же продемонстрировал. Он сел перед миной так, что она оказалась между его широко расставленными ногами, затем, взяв в правую руку сапёрный нож, а левую положив на мину, он смелым круговым движением ножа полоснул по мине, как это делают при разрезании арбуза пополам. Затем он с довольным видом подал мне верхнюю половину мины с зарядом, а сам занялся осторожным извлечением 4-х взрывателей из нижней половины мины, которые торчали в её центре, как арбузные семечки. Вся эта операция была проделана в течение считанных секунд.

Найденный способ разминирования оказался настолько эффективным, что когда через два дня был получен приказ к рассвету проделать проходы в минных полях противника, наши минёры не только проделали их, но к указанному часу и вообще к подчистую разминировали целые поля целиком, не потеряв при этом ни одного человека. Разминирование велось расчётами минёров, состоящими из 4-х человек: номер первый находил мины, номер второй подготавливал разминирование, номер третий срезал и отбрасывал верхнюю крышку мины, номер четвёртый вынимал взрыватели из мин.

Хочется думать, что этот минёр-рационализатор и сейчас жив и здоров. Его предложение сберегло жизнь многим минёров нашей бригады. Искренне сожалею, что память не сохранила фамилии и имени этого минёра.

В конце декабря 1942 года, когда немцы во главе с Паулюсом были окружены настолько серьёзно, что о выходе их из котла не могло быть и речи, 65-я армия наряду с другими продолжала упорные бои на уничтожение немецкой группировки. У минёров частей, подчинённых моей опергруппе, было много работы. Наступают дивизии – нужно делать в минных полях большие

проходы. После наступления, когда дивизии залегли в обороне - нужно прикрывать их минными полями. Я переезжал из одной дивизии в другую, следя за тем, чтобы работы минёров были безупречными и чтобы к бригаде не было никаких претензий. Естественно, при этом я вместе с минёрами непосредственно участвовал во многих боях или наблюдал за ходом боя от начала до конца.

В одном из таких боёв мы с другом моей молодости Я. Н. Берзиным даже сходили вместе с пехотинцами в атаку. Ян Андреевич, начальник оперативного отдела штаба инжвойск Донского фронта, приехал меня инспектировать и после тщательной проверки документации, которую вела опергруппа, захотел вместе со мною побыть в батальонах бригады, ведущих боевые действия. В один из батальонов мы прибыли в момент, когда минёры, проделав ночью проходы в минных полях, отдыхали, а пехота, заняв исходный рубеж для атаки, через несколько минут, должна была пойти в наступление. Узнав об этом, Ян Андреевич, что называется, загорелся. Ему, латышскому стрелку, воевавшему еще в Гражданскую войну, атаки были не в диковинку, и он бодро и, я бы даже сказал, с радостным волнением, хотя как и всегда неторопливо, сформулировал своё предложение:

- Давай, Юра, тряхнём стариной. Вспомним нашу молодость и повоюем сегодня как рядовые стрелки.

- Согласен, - ответил я. - Но только не с винтовкой и автоматом, а с пистолетом. Пригибаясь, мы продвинулись с ним в переднюю цепь стрелков, и по команде для пехоты пошли вместе со стрелками вперёд, вслед за валом рвущихся снарядов. Поначалу мы с Яном шли поодаль друг от друга, но, увидев, что ближайšie к нам стрелки в первой цепи идут по-двое и по-трое, курят и разговаривают между собой, мы последовали их примеру.

- Не та теперь атака, что была в Гражданскую войну. - ворчал Ян. - В такой атаке, в которую мы с тобой попали, не столько страшен немец, сколько наша собственная артиллерия. Слушаешь, как фыркают осколки, идёшь и думаешь, а вдруг шарахнет снарядом по тебе...

Примерно, через час мы с Берзиным, не сделав ни одного выстрела, достигли высоты, которую перед нашей атакой занимали немцы. Они сбежали, когда до окопов оставалось метров пять. Пехота свою ближайшую задачу выполнила и залегла, а мы решили идти к минёрам.

- Пожалуй, правы те, кто говорят, что пехота стала оккупационным войском, - согласились мы, возвращаясь после атаки.

Наверняка, бывали атаки и посерьёзней, возможно, такие же свирепые, как во время Гражданской войны, и даже еще более яростные, но я таких в Великую Отечественную войну не видел ни разу.

Провожать Берзина я пошёл в хутор Вертячий и там стал свидетелем не поддающейся разумению картины. С ледяной горы катались наши детишки - как и положено, с криками и смехом. Только катались они на довольно необычных ледянках. Это были трупы немцев, облитые, чтобы хорошо скользить, ледяной водой. На той горе их, специально замороженных, оказалось немало... Я не знал, как реагировать на это, так же как я не знал, как поступить, когда увидел солдата, использующего в качестве мишени при стрельбе труп замёрзшего немца. Труп он поставил так, чтобы стрелять по ягодицам. *Im Krieg, wie im Krieg*, - подумал я по-немецки (*На войне, как на войне - И.К.*).

В конце декабря мне по распоряжению начинжа 65-й армии Швыдкого пришлось принимать деятельное участие в подготовке к взятию одной высоты, на которой немцы добросовестно окопались и даже имели ДЗОТы. Неоднократные попытки выбить их оттуда успеха не имели, мы же от пулемётного огня противника несли значительные потери. Однако Швыдкой, скорее всего по указанию Батова, вознамерился во что бы то ни стало взять высоту,

- А не сделать ли нам тоннель под нее? - предложил он. - И взорвать к чертям немецких пулемётчиков?

- Идея интересная, - сказал я, - но я бы не хотел, чтобы на открытие тоннеля привлекались минёры бригады. Они и так заняты сверх головы минированием и разминированием...

На то, чтобы вырыть довольно длинный тоннель, с охотой пошли пехотинцы. Минёров же пришлось привлечь только для переноса большого количества взрывчатых веществ в тоннель и для подготовки самого взрыва. Командующий армией Батов, внимательно следивший за нашими работами, был доволен и похвалил Швыдкого. Взрыв был намечен на следующий день, как только пехотинцы поднимутся в атаку. Я с начинжем приехал посмотреть, как все это будет. Однако в последнюю минуту Батов отменил своё решение.

- Подрывать высоту не будем. Боюсь, что наше нацменовское пополнение, прибывшее в дивизию, испугается взрыва больше, чем немцы, и разбежится.... Попробуем сегодня взять её ещё раз, без взрыва.

Попробовали и взяли, с теми же нацменами. Взрывчатые вещества пришлось вытаскивать из тоннеля, а тоннель, если его не закопали, может, и сегодня местные ребяташки используют для своих игр.

Гораздо сложнее оказалась задача захватить другую высоту - так называемый Казачий курган. Одна из дивизий армии окопавшаяся у подножия этого кургана, уже несколько раз брала его, но немцы своими контратаками при поддержке танков снова его отбирали.

- Подумай серьёзно над тем, как минёры могут помочь дивизии в захвате Казачьего кургана не на полчаса или час, а навсегда. - заключил наш разговор на эту тему Павел Александрович Швыдкой. - Завтра доложишь мне свои соображения.

Я сразу помчался к Казачьему кургану. Рассматривая его с КП командира 173-й дивизии полковника В. С. Аскаленова, я убедился, что курган представляет собою не ахти какую высоту. В штабе дивизии я узнал, что очередная попытка овладеть курганом намечена на конец декабря и что она будет осуществляться при поддержке танковой бригады. Тогда у меня и возникла мысль во время танковой атаки доставить на курган какое-то количество мин и немедленно установить противотанковые минные поля. Танкисты, к которым я приехал, согласились с моим предложением, только при условии, что мины будут перевозиться не на танке, а на прицепе, на каком-нибудь транспортном средстве. Я доложил Швыдкому о своем плане и при этом пояснил, что минные поля непосредственно после захвата нами кургана могут быть и незначительными, но затем в ночное время мы их усилим, а что касается транспортировки мин, то для этого подойдут специальные волокуши, в сопровождении нескольких минёров.

Павел Александрович одобрил мой план и предложил вместо волокуш использовать специальные сани, добавив, что он этим займется. Я же отвечаю за мины и подготовку к операции самих минёров.

Накануне штурма все было готово как в дивизии и танковой бригаде, так и у нас. В одном из батальонов бригады были отобраны для предстоящего скоростного минирования лучшие из лучших минёров в количестве трех человек. Предполагалось, что один минёр будет ехать на санях с минами, а два других - на танках. Вместе со Швыдким я осмотрел и сани. Они имели низкую посадку, широкие и надёжные полозья, и при этом были довольно вместительные, что позволяло уложить на них вполне достаточное количество мин для первоначального минирования.

Утром 28 декабря начался бой за курган. С КП комдива Аскаленова я увидел, как танк, буксирующий сани с минами и минёром, выскочил на курган. Выскочил он для немцев столь внезапно, что не успели они открыть огонь, как он достиг окопов противника и начал давить тех, кто не успел убежать. Занялись этим и другие танки. Двигаясь над окопами взад и вперёд, вдоль и поперёк, танкист, очевидно, забыл и про сани и минёра, мотая их за собой, и иногда, развернув башню на 180 градусов, стрелял по отступающему противнику прямо над головой нашего минера. Я, наблюдая эту картину, хватался за голову, опасаясь и за минера и за его смертоносный груз, который в любой момент мог взлететь на воздух. Однако этого не случилось. Да и сам минер

оказался не из робких. Несколько раз он соскакивал с саней, деловито поправляя свой груз и даже стрелял из автомата по немцам... Наконец он сумел отцепить сани от танка и начал устанавливать минное поле. Вскоре к нему присоединились ещё два минёра, ехавших на броне танков, и вскоре Казачий курган стал неприступен для противника. Примерно, к 12 часам дня он был окончательно взят и закреплён за нами. В течение дня немцы пытались контратаковать, но только потеряли на наших минах несколько своих танков. В ночь с 28 на 29 декабря Казачий курган был заминирован нами столь фундаментально, что последующие контратаки немцев уже не могли принести им никакого успеха. Говорят, что Казачий курган с тех пор носит название «Курган минёров». Минёр, ехавший на санях буксируемых танком, остался в этом бою жив и даже не был ранен. Был он жив и здоров и до моего ухода из бригады. Не могу себе простить, что начисто забыл его фамилию, хотя, закрыв глаза, вижу отчётливо его коренастую фигуру и добродушное лицо русского солдата зрелого возраста. Ему было не меньше 40 лет, если не больше.

После боя за Казачий курган перед самым Новым годом я непосредственно участвовал еще в одном, тоже не менее успешном, бою. Забежав в только что оставленную немцами землянку, я увидел там довольно красивую ёлочку, сделанную из бумаги и увешанную ёлочными украшениями. Эту ёлочку, поскольку она из немецких рук попала в русские руки, я и сержант Ворона решили модернизировать. Вместо креста на верхушке мы прикрепили красную пятиугольную звёздочку, изготовленную из фанеры. Многочисленных ангелов с белоснежными крыльями мы превратили в парашютистов, оборвав им крылья и снабдив их парашютами, сделанными из самой белой бумаги, какая у нас нашлась. Прочие игрушки, гирлянды и цепи остались на ёлке без переделки. Но посидеть в новогодний вечер у этой ёлки мне не пришлось. В самый канун Нового года во второй половине дня комбриг меня вызвал в Панышино, куда переехал штаб бригады, и приказал с каким-то сверхсрочным поручением немедленно выехать в штаб Донского фронта. Перспектива встречать Новый 1943 год в дороге меня, понятно, и не радовала, но приказ есть приказ. Когда в лунную новогоднюю ночь моя трофейная легковая машина опель-капитан покрыла большую часть дороги до штаба фронта, я вдруг увидел стоящую у обочины роскошную легковую машину. На дороге возле машины маячили фигуры солдата и женщины. Женщина, одетая в гражданское пальто с меховым воротником, выразительными жестами просила нас остановиться.

Я попросил водителя остановить машину и вылез из неё, чтобы узнать, в чём дело. Женщина, у которой из-под мехового воротника пальто был виден воротник кителя с медицинскими петлицами и двумя шпалами, бросила на меня умоляющий взор:

- Будьте добры, довезите меня до штаба фронта. С машиной случилась неприятность. Она нуждается в ремонте. Я еду к мужу встречать Новый Год. Машина и водитель останутся здесь. За ней муж пришлёт грузовик...

Я, естественно, предложил ей место в моей машине, а остающемуся в степи шофёру налил немного водки из фляжки, на случай, если ему придётся встречать Новый год одному. По дороге я разговорился с незнакомкой, нежданно-нагадано оказавшейся моей попутчицей. Она оказалась хорошо воспитанной, весёлой и остроумной женщиной, способной вести непринуждённый разговор на любую тему. Когда до села, где дислоцировался штаб фронта, осталось езды не более 10-15 минут, я предложил на ходу проводить старый 1942 год. Моя незнакомка - майор медицинской службы - охотно согласилась. Я налил в крышку немецкой трофейной фляжки и в кружку, данную мне водителем, водки и мы с удовольствием выпили за уходящий оказавшийся удачным для нас 1942 год и, не помню уже, чем, закусили.

Подъезжая к селу, я спросил незнакомку, кто её муж и как его найти, чтобы довести её прямо до его местонахождения.

– Мой муж Рокоссовский Константин Константинович, и нам не придётся долго его искать.

Действительно, долго нам искать не пришлось, так как у въезда на улицу, где жил командующий фронтом, стоял усиленный пост. До того, как мы добрались до этой улицы, майор стала уговаривать меня встретить Новый год вместе с ней и с К.К. Рокоссовским. «Костя будет в восторге от вас и будет благодарен, что я познакомила его с вами. Вы не представляете, какой чудесный человек Костя», - щебетала медицинский майор.

Я ей категорически отказал:

- Голубушка, я следую дальше в штаб фронта и еще не выполнил приказ. Я не хочу и не могу выгладеть в глазах командующего фронтом нахалом, подхалимом и ловкачом, так что знакомиться с ним ни в коем случае не буду.

У поста я помог ей выйти из машины, и она попросила меня подождать несколько минут, пока она не вернется вместе с Рокоссовским, чтобы убедить меня остаться. Когда пост беспрекословно её пропустил и она нырнула в один из ближайших домов, я сел в машину и мы погнали в штаб инжвойск фронта. Новый 1943 год я встретил с Яном Андреевичем Берзиным, и мы вспоминали, как не раз встречались по этому поводу в Киеве в годы своей уже далёкой молодости.

В дальнейшем, когда я разминировал город Гомель и лично проверял, не заминирован ли дом, предназначенный для командующего Белорусским фронтом товарища Рокоссовского, мне указали на его жену. Это была отнюдь не майор медицинской службы, а стареющая женщина, как говорят, симпатичная, но полностью лишённая молодости и привлекательности, которыми обладала та моя попутчица. Ее я и по сей день вспоминаю с доброй улыбкой.

Командир бригады, изредка заезжавший к нам в опергруппу, когда она размещалась в землянке вблизи Вертячего, как-то полушутя-полусерьёзно сказал мне, что было бы неплохо, если бы я взял в плен какого-нибудь немца и прислал его в штаб бригады. Вскоре, в январе 1943, такая возможность представилась. В одном из боёв я первым заскочил в немецкую землянку у подножия только что отбитой нами у немцев высоты. В землянке, освещённой светильником, сделанным из малокалиберного снаряда, за столом сидели два немецких солдата. Завидев меня, они как по команде вскочили и подняли руки вверх. На столе перед ними лежали два автомата с вынутыми из них обоймами.

Из торопливых и испуганных слов немцев я понял, что они решили добровольно сдаться в плен и потому остались в землянке. Отодвинув подальше от них автоматы, я предложил им сесть и начал их допрос. Оба немца оказались танкистами из одного экипажа, танк которых подбила наша артиллерия. Один из них до войны работал на авиационном заводе, фрезеровщиком, другой, парикмахер, имел собственную мастерскую. Оба они вынули из карманов наши листовки на немецком языке, тыча пальцем в строки, призывающие сдаваться в плен и гарантирующие при этом сохранение жизни, право на ношение военной формы и что-то ещё. По моему указанию немцы взяли свои ранцы, из которых были видны скатки одеял, и, следуя впереди меня, вышли из землянки. Разыскав водителя своей автомашины, я послал его с парикмахером на пункт сбора пленных, а со вторым немцем остался у машины. До прихода водителя немец, его звали Карл Вейнер, сказал мне, что он не состоит и не состоял в партии нацистов, и жена у него не немка, а француженка, родившая ему сына, которому сегодня исполнилось три года 2 месяца и 5 дней...

Приехав с немцем в нашу землянку, я застал в ней, кроме опергруппы, и Харченко. Немецкий танкист был высокого роста, одет в чистую одежду, с хорошо вымытыми руками и лицом, аккуратно пострижен и побрит. Узнав, что он голоден, мы предложили ему поесть. Когда он, перед тем как сесть за стол, снял шинель, мы увидели на его груди немецкий орден «железный крест». Немец с удовольствием съел поданное ему, причём ел он весьма сдержанно и деликатно, не торопясь и без жадности, хотя чувствовалось, что он сильно голоден. Харченко одобрил моё намерение отправить пленного немца в штаб бригады, признав, что это как раз такой немец, какой им нужен.

Затем произошел разговор, в котором участвовали еще несколько заедших в землянку офицеров. Разговор вёл я, переводя сказанное. Исходя из данных, почерпнутых в наших газетах, я высказал удивление, что фельдмаршал Паулюс в такой тяжёлый для его войск момент улетел из Сталинграда. Вейнер категорически заявил:

- Это неправда. Паулюс ни в коем случае этого не сделает. Он сейчас в Сталинграде и будет с войсками до конца. Сегодня днём, после того, как мой танк был подбит, я уже как пехотинец лежал с автоматом в окопе. Рядом со мной, тоже с автоматом, был Паулюс.

Как мы впоследствии узнали, Вейнер нам не соврал.

На моё заявление, что после Сталинградской битвы Советская Армия будет гнать немцев до Берлина, он с большим сомнением сказал: «Kaum, kaum...» (едва ли – нем.) - и своей прямоотой понравился нам.

Когда я стал говорить Вейнеру, что с такой наградой как Железный крест он должен был бы драться до конца, а не сдаваться в плен, над нашей землянкой угрожающе завыл "мессершмидт", и азартный Костя Асонов, мечтавший самолично сбить самолёт, схватив винтовку, выскочил из землянки.

- А что я мог сделать, когда вы стреляете со всех сторон из всех видов оружия, - ответил на это Вейнер и, указывая на орден Красной Звезды у меня на груди, спросил в свой черед:

- А если бы вы сделали на моем месте?

Я хотел было ответить: «Я бы застрелился», но помня, что слова «стрелять» и «писать» при неумелом произношении звучат похоже (*шиссен - тиссен -И.К.*), только сказал: «Ich» и, вынув из кобуры пистолет, приставил дуло к виску. И в этот момент раздался выстрел, ошеломивший всех присутствующих, в том числе и меня самого. Прошло наверно несколько мгновений, прежде чем все мы осознали, что это не мой выстрел. Оказалось, это выстрелил по самолёту Асонов и как всегда мимо...

Прибывшая вскоре машина увезла Вейнера сначала в хутор Вертячий к комбату Ильину, а затем - дальше, в Паньшино, в штаб бригады.

Как мне стало известно, комбат Ильин организовал чуть ли ни вечеринку по поводу пленного немца. На этой вечеринке Ильин из-за незнания немецкого языка общался с Вейнером жестами и в том числе на такие темы, для которых понадобилось показывать презервативы... При подобном общении Вейнер вёл себя уже не так выдержанно и скромно, как у нас в землянке. Живя при штабе бригады в Паньшино и видя к себе хорошее и доброе отношение, Вейнер стал вести себя с каждым днём всё хуже и хуже. Начал, как мне рассказывали, твердить о том, что русские люди нечистоплотны, ленивы и прочее, и начал проявлять слишком большой интерес к девушкам, работающим в штабе и допускать по отношению к ним вольности, не приемлемые даже для нас. Это всем надоело, и Михаил Фадеевич по совету штабных офицеров приказал его расстрелять. Приказание это с удовольствием выполнил маленький кривоногий киргиз, числящийся при хозчасти. Расстрелял он его вблизи кладбища. Перед смертью Вейнер плакал.

Мне и сейчас делается горько, когда я вспоминаю этого моего единственного за время Отечественной войны лично взятого в плен немца и его глупейшую смерть. Если бы я был в то время штабе бригады, я бы добился его отправки в лагерь военнопленных, и, может быть, тогда он вернулся бы к своей худенькой французенке и к своему, как все дети, очень милому сыну, фотографии которого он мне показывал.

В связи с приближением 65-й армии к реке Россошанке было решено покинуть землянку в долине Вертячьей и занять другую, где-то вблизи Гумрака. Эта землянка была небольшая, но прекрасно оборудованная. Ее совершенно непривычные для русского глаза стены были обиты берёзой и берестой, для чего каждая берёзка разрезалась вдоль ствола. С точки зрения эстетической это выглядело оригинально, но чем-то напоминало похороны. В землянке была пара нар, на которых и устроились я и Костя Асонов. Но новоселье мы с ним отметили не в землянке, а у медсестры дорожного пункта Таточки, в будущем Татьяны Тимофеевны, верной и любящей жены Асонова. Она в это время находилась в селе Фастов севернее Сталинграда, и с разрешения комбрига, вызывавшего нас в Паньшино, мы после доклада ему, поехали к ней. Привезли мы с собой водку и хорошую закуску. Таточка оказалась чудесной хозяйкой. Она поджарила домашнему картошку, изготовила обильную закуску, достала где-то в селе солёные огурцы, квашеную капусту и ещё что-то. Не побоялась она пригласить на вечеринку и свою подругу, еще более привлекательную, чем она. С её подружкой-украинкой, имеющей по нашей части большой

боевой опыт, я сразу подружился. Во время вечеринки, когда Костя уединялся с Таточкой, она рассказывала мне много интересного о себе и о пережитом ею за время войны. Она горевала о погибших при бомбёжке сыне и муже и остро переживала за свою подругу, потерявшую на днях кисть руки, тоже в результате немецкой бомбёжки. Почему-то запомнилось, что она часто произносила слово «хана», применяя его в самых неожиданных для меня значениях.

Мы задержались на вечеринке больше, чем положено, и поэтому напрямик поехали с Костей в свою землянку, даже не заехав в Паньшино, в штаб бригады.

В землянке я между прочим занялся изучением карты очень крупного масштаба Сталинградской области и там снова натолкнулся на хутора Старо-Куберский и Ново-Куберский, расположенные юго-западнее Сталинграда на небольшом, порядка 15-20 км, расстоянии от него. Эти хутора я нашёл на карте еще в бытность бригады ещё в колхозе им. Первого мая и уже тогда просил у комбрига разрешения специально поехать туда и выяснить, уж не живут ли там или не жили ли какие-нибудь мои дальние родственники. Михаил Фадеевич ехать мудро не разрешил, мотивировав отказ замечанием: «Может быть, твои родственники были в тех местах помещиками, и ты узнаешь о них на свою голову. Если окажешься в этих хуторах по ходу боевых действий, тогда другое дело».

До сих пор меня гложет любопытство, почему эти хутора стали называться по моей не очень распространённой фамилии.

Благодаря хорошему снабжению, в основном, американскими продуктами, наша опергруппа не жаловалась на питание, но на новом месте, вблизи реки Россошанки, мы стали питаться еще лучше. Причина была в том, что нам стали перепадать немецкие комплекты продуктов, именуемые «winter». Они сбрасывались с транспортных самолётов для окружённых в Сталинграде немецких войск. Но в виду того, что мы близко подошли к Сталинграду, эти продукты частенько попадали и по нашему адресу... В комплектах мне особенно нравился нечерствеющий чёрный хлеб и шоколад. Костя Ассонов и другие отдавали предпочтение колбасе и кофе. С расчетом на повторение вечеринки в Фастове, мы с Костей запасли один такой "winter", представляющий собой набор продуктов на 4 дня для одного человека или на один день для 4-х человек. Случай неожиданно подбросил нам и подарки для наших фронтовых подруг.

Как-то, услышав надрывный вой самолёта, мы выскочили из землянки и увидели в небе немецкий транспортник. Из него валил густой чёрный дым и выпрыгивали летчики, над которыми один за другим раскрывались парашюты. Выпрыгнуло всего четыре человека. Один из них, по нашим расчетам, должен был опуститься недалеко от нашей землянки. Костя, Ворона и я молниеносно сели в машину и поехали к месту его предполагаемого приземления. Поручив Косте и Вороне во что бы то ни стало прибрать к рукам парашют и не отдавать его другим, бегущим со всех сторон к спускающемуся летчику, я решил заняться им самим. Задрав голову, я увидел, что парашютист вынимает из кобуры пистолет, и мгновенно вынул и снял с предохранителя свой. Я рассчитывал взять его в плен, но уже возле земли парашютист поднял руку с пистолетом и выстрелил не в меня, а себе в висок. Приземлился он уже мёртвым, и я, увидев, что Костя и Ворона с трудом удерживают раздуваемый ветром парашют, бросился им на помощь. Когда мы втроём справились с парашютом, и я вернулся к мертвому немцу, то с удивлением увидел, что он совершенно голый. За считанные секунды подбежавшие солдаты сняли с него всё вплоть до носков. Мне удалось взглянуть на петлицы и погоны на мундире застрелившегося на моих глазах немца. Если не ошибаюсь, по званию он был старшина, то есть что-то вроде гаупт-фельдфебеля. По моей просьбе солдаты отдали мне его документы. Из документов явствовало, что он пилот самолёта и прочие обычные сведения, которые я не могу вспомнить. Среди документов я нашёл фотокарточку его жены с ребёнком и нежные письма от неё.

Парашют дал нам с Костей, кажется, целых 76 квадратных метров прекрасного шёлка, но обстоятельства сложились так, что подарить его Тате и её подруге сразу не удалось. Вечеринка не состоялась, поскольку в последующие дни опергруппа была занята заключительными боями под самим Сталинградом. Приехав по приказу Иоффе на час или два в Пальшино, я ухитрился буквально на несколько минут завернуть в Фастов. Найдя Тату в небольшом доме, где она жила с

подругой и ещё одной медсестрой, я с трудом разбудил их, поскольку время было раннее, и вручил парашют. Восторгу молодых женщин не было предела, до конца войны они пользовались этим шёлком для самых разных целей, в том числе шили себе кофточки.

В период боёв под Сталинградом я еще несколько раз сталкивался вплотную с лётчиками. Один раз я даже был свидетелем гибели немецкой лётчицы.

Как-то я ехал с каким-то срочным заданием по небольшому лесу. Услышав стрельбу в лесу, справа от дороги, я вышел из машины и пошёл в направлении выстрелов, чтобы выяснить их причину. Выйдя на поляну, я увидел стоящий на нём мессершмидт, в кабине которого за штурвалом сидела, буквально, за несколько секунд до моего появления на поляне покончившая жизнь самоубийством немецкая лётчица. Как мне удалось выяснить у сбежавшихся к самолёту солдат и офицеров, мессершмидт по неизвестной причине сел на поляне, и когда к нему попытались приблизиться, лётчица открыла стрельбу из пистолета. Стреляла она, как говорили, почти в полном изнеможении, роняя голову после каждого выстрела, как бы теряя сознание. Своими выстрелами она никому не причинила никакого вреда, а последним выстрелом в рот оборвала свою жизнь. До этого случая я не знал, что и у немцев были лётчицы-женщины. Когда вытаскивали из кабины труп, я увидел что это была крупная высокая блондинка с большими кистями рук, явно не аристократического вида.

Вскоре после этого случая как-то ночью, когда опергруппа жила в землянке в долине западнее хутора Вертячий, буквально рядом с землянкой опустилась на парашюте наша лётчица. Она спрыгнула с самолёта У-2, подожжённого немецкими зенитчиками. Несмотря на то, что только чудом осталась живой и невредимой, наша лётчица выглядела спокойно и не торопясь рассказывала нам в землянке о только что пережитом ею. Глядя на неё, рослую и крепкую, одетую в чёрный комбинезон, я думал, что такая на месте немецкой лётчицы постояла бы себя, пристрелив напоследок несколько немцев.

Здесь, кстати, хочется упомянуть, что самолёты У-2 под Сталинградом пользовались большим авторитетом и уважением со стороны наземных войск. И авторитет им создали женщины-лётчицы. Самолёты эти в качестве ночных бомбардировщиков не давали немцам покоя, но летали они и днём. Однажды днём на наших глазах, точнее - над нашими головами - на такой У-2 напал мессершмидт. Казалось, гибель У-2 была неминуема, но лётчица воспользовалась тем, что поблизости был совсем узкий овраг. Она нырнула со своим самолётом в него и повисла над ним на крыльях самолёта. Не знаю, сильно ли при этом был повреждён самолёт, но поскольку он делался в основном из фанеры, то был быстро отремонтирован. Что же касается лётчицы, то я лично видел её сразу после этого происшествия в добром здравии и прекрасном настроении.

По-видимому, в середине января 1943 года, когда стало совершенно ясно, что окружённые немцы обречены на гибель, так как им не по силам разорвать кольцо изнутри или снаружи, нами был занят их последний аэродром. Мне пришлось выехать туда, чтобы проверить работу одного из батальонов бригады, разминирующего его. Подъезжая к аэродрому, я увидел, что дорогу к нему обычным для полиции жестом указывают одетые в парадные шинели немцы. Только в следующую секунду я понял, что это замёрзшие трупы. Все они были как на подбор розовощёки, с открытыми глазами. Не знаю, какими любителями черного юмора надо было быть, чтобы не только придумать такое, но и материализовать в буквальном смысле слова, затратив на это немало времени. Еще более кошунственную картину я видел в другом месте. Там замороженный немец, молодой и красивый, был раздет до красной майки и чёрных трусов и установлен в позе футболиста, бьющего по мячу. Мяч был слеплен из снега и выкрашен чем-то чёрным.

Да, были на войне и такие "скульпторы".

На аэродроме стояло много, как мне показалось, совершенно исправных немецких самолётов. Я заглянул в кабину каждого самолёта и в каждой видел повешенную впереди справа от руля порнографическую карточку. Проверил я специальные машины аэродромного обслуживания и

аэродромные землянки. Рассматривая в одной из них различные документы, я натолкнулся на альбомы, в которых были чертежи с данными о намеченной на 23 августа 1942 года бомбёжке Сталинграда. Эти альбомы мне показались заслуживающими внимания, и я посоветовал комбату переслать их в штаб бригады. Значительно позднее мне стало известно, что альбомы дошли до штаба фронта, и К.К.Рокоссовский приказал переслать их в комиссию по преступлениям и зверствам немецкой армии во время войны. Мне было приятно узнать, что он как будто бы сказал: «Только такое культурное соединение как 16 отдельная инженерная бригада специального назначения могла заинтересоваться этими альбомами и прислать их мне». Я был большим патриотом нашей бригады и дорожил её авторитетом.

В конце января 1943 год, когда группировка немцев засевшая в Сталинграде была рассечена на две части, как-то в землянке Швыдкого у реки Россошанки я застал допрос немецких минёров. Допрос вёл молодой писарь штаба инжвойск. Слушая, как он говорит по-немецки, я понял, что он говорит скорее на идише, но немцы его довольно легко понимают. Немецкие минёры были представлены во всех степенях, начиная от рядового солдата и до командира батальона. Внимательно следя за ходом допроса, я был удивлён тем, что командир батальона и подчиненные ему офицеры, без всякого стеснения друг перед другом и рядовыми, охотно рассказывают всё, о чём только их спрашивают. Казалось, они даже стараются перещегоолять один другого в наиболее точном изложении всего, что им известно. Я подумал, что немецкие офицеры как военные профессионалы ведут себя недостойно. Узнав от пленного комбата, что их склад тола, мин и прочих принадлежностей для минирования размещён в подвалах сгоревших кирпичных зданий на юго-западной окраине Сталинграда, я прямо из штаба поехал к этим зданиям, прихватив по дороге наших минёров. Комбат категорически заверял, что склад не заминирован, и это полностью подтвердилось. Я выставил пост возле него и был доволен неожиданным пополнением бригады взрывчаткой, которой хватило надолго. Моё, еще с гимназических лет, весьма высокое мнение о немцах значительно снизилось в ходе Первой мировой войны и после прихода к власти Гитлера. Совсем нелестно я стал думать о них во время Великой Отечественной войны, особенно при непосредственном общении с ними, как в описанном выше случае.

В начале февраля после окончательного разгрома Сталинградской группировки противника по дорогам на восток потянулись колонны военнопленных, медленно идущих к местам сбора у железной дороги для отправки в тыл. Я часто наблюдал в этих колоннах сцены, свидетельствующие об отсутствии фронтового товарищества среди немцев. Они ругались между собой, отнимали что-то один у другого и иногда дрались. Дрались они тоже как-то не по-нашему - лягались, как жеребцы, стараясь угодить в зад друг другу. В ту пору моё неуважение к немцам уже стало переходить в презрение.

Сталинград, куда я в один из тех дней отправился вместе с комбригом в его прекрасной автомашине, произвел на меня крайне тяжелое впечатление - в нем не осталось ни одного несожжённого и неразрушенного здания. На одной из улиц мы проехали мимо какого-то предприятия с тонкой металлической трубой, искореженной, но устоявшей - я насчитал в ней не менее пяти дыр от снарядов, что давало представление о том, какая тут была плотность огня... В городе я был свидетелем картин, которые могли потрясти любого, и если не потрясли меня, то только потому, что я уже успел насмотреться на многое, что притупило восприятие.

Навстречу нашей автомашине, ехавшей из-за плохой дороги с малой скоростью, попадались как группы пленных, так и одиночные пленные. Даже при мимолётном взгляде на них поражала их невероятная вшивость и ужасающая форма насморка, которым все они страдали. Многие буквально исходили соплями, соплями жёлто-зелёного цвета, густыми как масляная краска из тюбика. Вшивость немцев мне была непонятна, ибо для борьбы с ней принимались серьёзные меры. В немецких госпиталях, оборудованные, кстати, весьма умело и комфортабельно, я находил неисчислимое количество пакетиков с каким-то порошком для борьбы со вшами, о чём свидетельствовала, прежде всего, большущая вошь, изображённая на них. Было известно, что немецким солдатам выдавалось шёлковое бельё опять-таки с целью борьбы со вшами, но все эти меры оказались тщетными.

В нашей армии, солдаты которой считались менее чистоплотными, чем немцы, такой вшивости не было и в помине, хотя мы не имели ни шёлкового белья, ни специальных пакетиков. Единственное, что нами практиковалось для борьбы со вшами, это походные или стационарные бани и пропускание одежды и белья через специальные камеры с высокой температурой, которые в просторечии назывались вошобойками.

Под колёса нашей автомашины чуть не попал немец, ползший по улице нам навстречу с трагическим выражением лица. Из носа его торчали жгуты соплей и он что-то бормотал, поднимая руки и взывая о помощи.

- Выйдете из машины и пристрелите его, - не то из чёрствости, не то из жалости предложил мне Иоффе.

- Я могу пристрелить человека только в порядке самозащиты и то при надлежащем нервном напряжении, - ответил я.

Расставшись с Иоффе в Сталинграде, я присоединился к минёрам, производящим осмотр некоторых зданий для обнаружения мин-сюрпризов. В ходе этого осмотра в каком-то подвале я попал в немецкий госпиталь, полный раненых солдат и офицеров. Среди них, кроме немцев, оказалось несколько испанцев из так называемой «Голубой дивизии» и итальянцев. Один испанский офицер поразил меня тем, что был вылитый Харченко, наш замкомбрига. Схожесть была такая, что мне захотелось привести к нему Виктора Кондратьевича и показать ему его самого в аристократическом исполнении. Надо думать, это был какой-нибудь родовитый идальго самых чистых кровей. Бросив на меня трагически печальный взор, он сказал мне по-немецки, что спирт наши солдаты уже забрали, и его больше в госпитале нет. *Sie suchen minen (они ищут мины – нем.)*, - разъяснил я ему, указывая на минёров.

Попал я и в комнату, в которой жил и сдался в плен фельдмаршал Паулюс. Она, как и госпиталь, тоже находилась в одном из подвалов. Мне понравилась спартанская скромность фельдмаршала - в комнате была обычная железная койка, покрытая серым солдатским одеялом, простой стол со стулом и тумбочка. На ней стояла изящной формы ваза тёмно-синего цвета. Ваза была пустой. В подвальном помещении, рядом с этой комнатой, теперь размещался штаб 38-й дивизии одной из наших армий, и там я познакомился со старшим лейтенантом, взявшим в плен Паулюса и немного рассказавшим мне о нем...

Вечер того дня я провёл с минёрами роты Пергамента. Они должны были проверить, как сработали взрывающиеся по радио мины, которые были установлены нами осенью при отступлении. Юрий Михайлович Пергамент умел напустить туману, и из его уклончивых ответов я сделал для себя вывод, что далеко не все наши мины сработали...

Тогда же, в начале февраля, я и Харченко по пути в штаб бригады заехали в село Гумрак, где, не помню по какой причине, зашли в одну небольшую избёнку. В ней мы увидели сидящих за столом сильно отощавшего старика и мальчика, лет шести на вид, поражавшего своей худобой и щеделушностью. Оба они ели что-то непонятное, похожее на почерневшую картошку или бураки. Викторий Кондратьевич завел со стариком и мальчиком разговор, из которого выяснилось, что они чужие друг другу и сошлись вместе при немцах только для того, чтобы не умереть с голоду. Меня поразила способность мальчика отвечать на вопросы и поддерживать беседу на таком же уровне, что и старик, то есть казаться совершенно взрослым, многое обдумавшим и пережившим человеком. Удивило меня и совершенно неожиданная для Харченко, которого я знал как сдержанного и даже несколько сурового офицера, теплота и нежность, с которыми он обращался к мальчику.

Как оказалось, в Гумраке у мальчика никого из родственников нет. Отец в начале войны ушёл на фронт, и о нём не было ничего известно, мать умерла от голода при немцах. Может быть, потому, что я ехал с Харченко на его машине, и еще потому, что на фронте я имел гораздо меньше возможностей, чем он, у меня не возникло и мысли вмешаться в судьбу мальчика. Единственное, что я хотел сделать, это отдать ему со стариком еду, взятую с собой в поездку. Но Харченко решил

вопрос фундаментально. Он предложил мальчику ехать с ним и жить у него, на что тот с радостью согласился. Сборы в дорогу были недолгими, так как никакого имущества, кроме захудалого пиджачка, у него не было.

Путь до штаба бригады наш маленький пассажир перенёс с трудом. Его укачало и у него началась рвота. Снова я удивлялся, что Виктор Кондратьевич трогательно помогал ему справиться со своим недомоганием, не проявляя при этом никакого недовольства. В штабе бригады мальчика отмыли и подстригли. Вместе лохмотьев и изношенной обуви ему сшили прекрасную военную форму, включая шинель и шапку, и хромовые сапоги. Этот мальчик находился при штабе бригады до тех пор, пока бригада не получила распоряжение о выезде на Центральный фронт. Тогда он был отправлен в глубокий тыл.

Уже в феврале наши войска, участвовавшие в Сталинградской битве, начали перебрасываться на другие фронты. Бригада же оставалась, получив задание по разминированию мест бывших боёв и захоронению трупов. Условия для разминирования были сложными - земля еще покрыта толстым слоем снега, минных полей грандиозное количество, и надо их еще найти, так как документация зачастую отсутствовала, причем, не только на немецкие, но и на многие поля, в разное время установленные нашими войсками. При разминировании мин, установленных немцами и румынами, все 11 подразделений бригады практически не имели потерь, поскольку эти мины были металлические, легко отыскивались с помощью миноискателей и относительно легко обезвреживались. Некоторые проблемы в разминировании румынских противотанковых мин были решены ещё в самом начале нашего наступления, где-то между Мало-Клетской и Вертячим.

Гораздо труднее проходило разминирование наших собственных противотанковых минных полей, состоящих из деревянных мин ЯМ-5 (ящичная мина с количеством тола в 5 кг) и ЯМ-10 (с количеством тола в 10 кг) и противопехотных – с минами ПМД (противопехотная мина деревянная). Внимание всех офицеров бригады, начиная с командира бригады и кончая командирами взводов, было сосредоточено именно на таких минных полях. В середине или конце февраля 1943 года я получил задание выехать в один из батальонов, который производил разминирование противопехотных минных полей, установленных нашей бригадой осенью 1942 года. Послали меня в этот батальон неслучайно. Штабу бригады было известно, что он несёт неоправданно и недопустимо большие потери при разминировании.

Командир бригады, инструктируя меня перед выездом в этот батальон, сказал:

- Из Вертячего, где дислоцирован батальон, сразу выезжайте на минные поля. По возможности - вместе с комбатом Кущём, который сейчас принимает батальон от Ильина, и прямо на месте выполняйте задание по снятию минных полей. Окажите ему помощь в наведении порядка в разминировании. После вашего приезда на минные поля подрывы минёров должны прекратиться полностью. Вам всё ясно?

- Всё ясно, товарищ подполковник.

- Тогда ни пуха, ни пера. Надеюсь на вас, Юрий Васильевич. Выезжайте сейчас же – машина ждёт.

Я приехал в батальон в момент, когда его новый командир М. М. Куц заканчивал последние формальности по приёме, и вместе с ним направился в одну из рот, работающую на минном поле. По дороге договорились приступить к действиям без всякой раскачки: он проверит документацию на минные поля и вообще дисциплину в роте, особенно при разминировании, и решит ряд организационных и хозяйственных вопросов, я же сосредоточу всё своё внимание на технике разминирования. Зайдя в помещение роты, мы узнали от ее командира, что бойцы по-прежнему подрываются. Свидетельством этого были два минёра, стонущие на нарах - их, жестоко покалеченных, только что привезли с минного поля. Я немедленно выехал туда, оставив комбата разбираться со всем остальным.

С Михаилом Михайловичем Кущём я познакомился в последних числах августа 1942 года в Сталинграде, где он, в качестве помощника командира роты специального минирования руководил установкой управляемых по радио мин на наших промышленных и гражданских объектах. Как я уже писал, рота спецминирования не входила в состав моей оперативной группы и действовала совершенно независимо от нас, но я был хорошо с ней связан и довольно часто встречался с командиром этой роты Пергаментом и его помощником Кущём. С ними я выполнял задания командира бригады по изготовлению на уцелевших заводах Сталинграда нужного нам оборудования для минирования. С ними я не однажды попадал под жесточайшие бомбёжки. У них я, тогда еще необстрелянный немцами, учился науке выживания в новой для меня войне

...Прибыв на минное поле, я увидел, что разминирование производилось, в общем, правильно. Минёры, двигаясь на предусмотренном инструкцией расстоянии друг от друга, разыскивали мины щупами (деревянными палками длиной два метра с металлическими стержнями на одном из концов). Все они были, что называется, стреляные воробьи: мины ПМД с 200 граммовыми толовыми шашками хорошо знали, разминирования не боялись - все накормлены, хорошо отдохнули, настроение бодрое. Проблема была лишь в том, что мины на полметра укрывал снег, с осени они вмёрзли в грунт и щупами едва определялись - попробуй тут догадаться, что именно под щупом - ком смерзшегося грунта или деревянный корпус мины... Для начала я предложил командиру взвода замедлить темп разминирования насколько возможно и усилить осторожность и бдительность, а сам пошел от одного расчёта к другому, присматриваясь к их опасной работе.

Моё внимание привлёк уже немолодой сурового вида солдат, который работал в одном из расчётов первым номером, то есть отыскивал щупом мины. От других он отличался какой-то подчеркнутой аккуратностью как в одежде, так и в своих действиях. Шинель, валенки, поясной ремень - все у него было хорошо подогнано, однако шапка, несмотря на мороз, была на макушке, оставляя неприкрытыми уши. Щуп у солдата имел прямо-таки фабричный вид. На деревянный стержень с обоих концов были надеты стрелянные патроны от сигнальных ракет, а сам стержень выглядел как отлакированный. По сравнению с другими минерами солдат и щупом пользовался иначе. Он втыкал его в снег почти под прямым углом и, как бы простукивая землю, прислушивался. На мой вопрос, почему он так действует, солдат ответил:

- Я, товарищ майор, щупом не щупаю, а постукиваю. Только по звуку и узнаю, где мина, и пока что получается. Поэтому и не закрываю шапкой уши.

Кушу, подъехавшему в это время к минному полю, я рассказал, каким способом один из его минеров отыскивает мины. Те извлеченные мины, что я успел осмотреть, были покрыты только снегом или травой и снегом, но не землей, так что их деревянная крышка действительно должна была отзываться на простукивание металлическим концом щупа. Вариант такого разминирования я предлагал начать немедленно, выбрав для этого несколько опытных минёров с хорошим слухом.

Куш вместе со мной осмотрел найденные мины, находящиеся всё ещё в заряжённом состоянии, постучал щупом по их крышкам, а затем по грунту и, подумав, сказал:

- Я считаю так, Юрий Васильевич, давайте лично опробуем новые способ, сами. Слух у меня отличный, поэтому я буду находить мины, а вы - их извлекать. Так мы скорее пойдем, хороший это способ или нет.

И вот, превратившись в минёров, мы принялись за работу. Уже примерно через час стало очевидно и нам, и всему взводу, работавшему на этом участке, что найден довольно надёжный и эффективный способ снятия противопехотных и противотанковых деревянных мин для данных конкретных условий. К наступлению сумерек, новый способ разминирования был не только усвоен минёрами, но и стал достоянием всего батальона, поскольку Куш довёл его до сведения всех командиров рот. Сами щупы к этому времени были модернизированы - получили форму печатной буквы "Г", где короткая часть конструкции была металлической, а длинная деревянной. В последующие дни все минёры батальона Куша без всяких потерь закончили выполнение сложной задачи.

В один из вечеров за ужином, выпив положенные граммы, мы отдыхали с Кущём. Разомлевший от тёплой избы, хорошего ужина и, может быть, немного от водки, я добрыми глазами смотрел на Куща, любуясь егостройной и мужественной фигурой:

- Быть тебе генералом, Миша. При твоей смелости, любви к солдату и оперативности, это закономерно. Ты далеко пойдёшь, Миша. Назначение комбатом - это только начало.

- Далеко пойду, если патруль не остановит, - деликатно прекратил он мои панегирики. На этом пути, остановил его не патруль, а смерть. Смерть, как и в большинстве случаев на фронте, неожиданная, мгновенная и ужасающе преждевременная. Когда после Великой Отечественной войны где-то в конце 1945 года я узнал о том, что Михаил Михайлович Кущ не дожил до нашей победы, сражённый осколком немецкого снаряда в бою под Познанью 1 января 1945 года, мне стало тяжело и горько. Думалось, я, чуть ли не вдвое старше Михаила, уцелел на войне, а вот его, рослого молодого парня атлетического сложения, храброго и уверенного в себе, с открытой подкупающей улыбкой и весёлым озорным взглядом, больше нет среди нас.

Сейчас, по прошествии многих лет, особенно когда я смотрю на фото памятника нашему советскому солдату в Трептов парке в Берлине, мне представляется, что это и есть Миша Кущ.

Основная часть мин при разминировании уничтожалась с помощью взрывов. Таких взрывов при работе всех подразделений бригады, естественно, было много, и как-то они привлекли внимание пленных немцев, собранных в одном лагере для отправки по железной дороге в глубокий тыл. Военнопленные, приняв эти взрывы за огонь немецкой артиллерии, попытались организовать освобождение из лагеря, но его удалось предупредить и, таким образом, избежать ненужных смертей.

Помимо разминирования, как уже упоминалось, бригада должна была заниматься захоронением немецких трупов. В феврале месяце и даже в марте, когда земля еще не оттаяла, захоронение являлось весьма трудным делом. В самом начале января, когда мы только что овладели Сталинградом, ко мне со слезами обратилась одна женщина, донельзя измученная при немцах, и попросила оказать ей помощь в похоронах мужа. Немножко придя в себя после предложенного ей горячего чая с хлебом, она рассказала мне свою историю. По её словам, она и муж остались в Сталинграде и жили в просторной землянке, куда переселились из своего сгоревшего деревянного домика. Их землянку заняли немцы, но разрешили им остаться в уголке в роли прислуги и подкармливали за это объедками. Когда с едой у немцев стало плохо, они выгнали её мужа из землянки и приказали ему не показываться им на глаза. Муж от голода и холода вскоре умер, и она спрятала умершего в развалинах.

Мне и шедшим со мной минёрам она показала место хранения покойника. Он лежал, покрытый простынёй, в нижнем этаже сгоревшего и разрушенного от обстрела кирпичного здания. Края простыни, чтобы ее не сдуло гулявшим в развалинах ветром, были прижаты к полу камнями и кирпичами, которые создавали как бы низенькую ограду вокруг покойника. Из сочувствия к женщине минеры попросили у меня разрешения похоронить её мужа. Из найденных досок они быстро сколотили гроб, и мы на машине отвезли покойника на кладбище. Заодно я хотел проверить, сколько времени уходит на откопку могилы, коль скоро бригада получила задачу хоронить немецкие трупы. Проверка повергла меня в уныние - мерзлая земля едва поддавалась не только лопатам, но и ломам... Сколько же времени и сил предстояло затратить на все это...

Однако вопреки мрачным прогнозам, с этой задачей бригада справилась легко и быстро. Нашелся минёр-рационализатор, по-видимому, ни раз наблюдавший в своей опаснейшей профессии, что при подрыве человека на противотанковой mine от него ничего не остаётся. Этот минёр предложил не хоронить немцев, а взрывать, и с моего молчаливого согласия минёры поступали так: подлежащую уничтожению немецкую мину они клали на живот и грудь трупа и взрывали. Получалась двойная выгода: уничтожалась мина – исчезал труп. Причем, исчезал начисто. Морально я оправдывался тем, что по обычаю некоторых народов покойника принято сжигать, а пепел развеивать. Что-то подобное по результату получалось и у нас.

Читая в штабе бригады рапорты частей об успешном захоронении немецких трупов, я понимал, как достигается этот успех. Понимали это, конечно, и офицеры частей. Наверняка, знали об этом Иоффе и Харченко, хотя я лично никогда им об этом не говорил. Захоронением бригада, по-видимому, занималась до конца марта, когда земля уже начала оттаивать. Однажды в поле моего зрения попал сильно пожилой житель Сталинграда, который бродил среди трупов немцев и внимательно их рассматривал. Оказалось, что он приходит чуть ли не из центра города и снимает с трупов одежду. При мне он снимал свитер с раздутого немца. Мне казалось, что сделать это невозможно, но старичок ухитрился. Лезвием от безопасной бритвы он распорол свитер по всем швам, после чего легко снял его, аккуратно свернул и положил в рюкзак. Не знаю, кто был этот старичок. Может, дедушка, заботящийся о прокормлении своих внуков и а, может, мародер и спекулянт. Но так или иначе это свидетельствовало о том, что стремление человека сохранить свою жизнь или жизнь своих потомков неистребимо.

Занимаясь выполнением поставленных перед ней в ту пору задач, бригада одновременно готовила себя к новым боям с противником на Центральном фронте, куда выехали и выезжали войска Донского фронта. В это время в бригаде и появился офицер Голубев, принявший участие в разминировании с помощью подразделения собак. С Голубевым и его собаками я познакомился ещё в период боевых действий в составе 65-й армии. Если не ошибаюсь, Голубев служил ещё в царской армии. Высокий, худощавый, скромный в общении, он давно занимался вопросом использования собак в армии. Когда я с ним встретился, он обучал собак-смертников, предназначенных для уничтожения танков противника. При появлении танка эти собаки бросались под него. Они несли на спинах внушительные заряды тола, в которые вставлялся взрыватель, торчавший над спиной собаки как стержень. Когда стержневой взрыватель задевал за дно танка, то, срабатывая, взрывал заряд тола. При этом подрывался танк, за что собака платила своей жизнью.

Многие потешались над Голубевым. Остряки говорили, что с помощью собак он собирается сбивать самолёты. Рассказывали историю о том, как два его подчинённых сержанта решили воочию убедиться, что происходит с собакой при взрыве на её спине заряда тола. Они вставили заряд-детонатор с бикфордовым шнуром, зажгли его и отбежали от собаки. Однако она последовала за ними... В панике сержанты бросились от неё наутёк, собака - следом. Их спасло только то, что они успели забежать в двухэтажный дом и подняться по лестнице на второй этаж - собака взорвалась на первом. Говорили, что аналогичное происшествие произошло и при демонстрации гибели собаки от взрыва группе генералов, стоявших на безопасном расстоянии от неё. Когда зажгли бикфордов шнур, собака вдруг побежала к ним. Генералы, сообразив, чем это грозит, на предельной скорости бросились от неё врассыпную. Правда, при этом никто, кроме собаки, не погиб, но переполоху и насмешек над генералами было много.

Я, увидев на практике, что собаки Голубева безошибочно находят мины, проникся к ним большой симпатией и считал, что они могут оказать бригаде большую помощь при разминировании. Так оно и получилось.

Кроме подразделения собак, предназначенных для разминирования, бригада готовила ещё целый ряд нововведений в своих частях. Из таких надо, прежде всего, отметить подвижные отряды заграждения (ПОЗ). В какой-то мере намёком на ПОЗ являлись действия минёров в Казачьем кургане. Я же лично по-настоящему занялся этим вопросом по указанию Иоффе. Примерно в конце февраля или в начале марта он вызвал меня к себе и начал мне читать поэму о минерах. Поэма была юмористическая, и поначалу мне показалось, что она написана о нашей бригаде и некоторые строчки её относятся ко мне. Я был смущён этим, и только когда поэма была более чем наполовину прочитана, я понял, что речь идёт о другой бригаде.

Оказалось, что поэму написал знакомый мне ещё по академии Дмитрий Семёнович Кривоzub, служивший в бригаде, аналогичной нашей, где было много офицеров, работавших со мною на протяжении нескольких лет. По прочтении поэмы, мы перебрали наших общих знакомых, и Михаил Фадеевич рассказал мне о подвижных отрядах заграждения, которые действуют в других инженерных бригадах. Он высказал о ПОЗ только самые общие соображения, которые ему были

сообщены в письме, прилагаемом к поэме, и приказал мне заняться этим вопросом столь серьёзно, чтобы я смог на предстоящем сборе командиров частей бригады сделать доклад на эту тему. Уйдя от Иоффе, я буквально заболел предстоящим докладом, и с того дня мои мысли в свободное от текущих дел время были заняты только им. Мне было совершенно ясно, что в предстоящих боевых действиях на Центральном фронте мы должны минировать не так, как делали это на Донском фронте. Для того, чтобы объяснить себе, как же лучше минировать, я часто беседовал с командирами подразделений бригады, со многими офицерами и рядовыми минёрами. К указанному сроку доклад был подготовлен, одобрен командованием бригады и прочитан на упомянутом совещании, которое состоялось в самом конце марта в Паньшино.

Доклад был встречен командирами частей одобрительно, и его положения были приняты, по сути, безоговорочно. До отъезда на Центральный фронт во всех частях со всем составом положения доклада изучались, уточнялись и дополнялись.

Кроме подвижных отрядов заграждения, ставящих мины непосредственно перед наступающими танками противника, как новинку бригада создала управляемое минное поле, которое имело задачу подрывать танки противника и уничтожать сопровождающую их пехоту. Подвижные отряды заграждений были приняты на вооружение частей бригады и полностью оправдали себя в боях на Курской Дуге, и стали неотъемлемой частью в дальнейшей боевой деятельности бригады так же, как и управляемые противотанковые и противопехотные минные поля.

Боевая деятельность 16 ОИБСН на Юго-западном, Сталинградском и Донском фронтах, была высоко оценена Главным командованием Советской армии - 1 апреля ей присвоили звание гвардейской, и она стала именоваться - 1-я Гвардейская Отдельная Инженерная Бригада Специального Назначения. Мне и сейчас приятно вспомнить, что 1 апреля 1943 года меня вызвал к себе заместитель командира бригады Виктор Кондратьевич Харченко и, сообщив мне, что бригада стала 1-й Гвардейской, привинтил мне к гимнастёрке на груди гвардейский значок. Он также добавил, что я его получаю первым в бригаде, и что это говорит о многом и ко многому меня обязывает.

Заканчивая записки, относящиеся к боям под Сталинградом, я не могу умолчать о том, что здесь произошло моё первое расхождение с Михаилом Фадеевичем Иоффе. Это было в хуторе Вертячем накануне разгрома окружённой в Сталинграде немецкой группировки. 65-й армии предстояла серьёзная боевая операция, в обеспечении которой участвовали все части, подчинённые моей опергруппе. Учитывая важность предстоящей операции, я, естественно, продумал все детали боевых действий этих частей и предполагал обсудить их с каждым командиром части в отдельности, принимая во внимание особенности части и её командира. Неожиданно в Вертячий приехал командир бригады Иоффе и созвал совещание командиров частей, подчинённых опергруппе. На этом совещании он давал указания по предстоящей завтра боевой операции. Указания он давал без подъёма и как-то чрезвычайно вяло, и поэтому, когда он дал слово мне как начальнику опергруппы, я выступил если не более толково, то более впечатляюще, чем он. Это объяснялось, конечно, прежде всего, тем, что я был крепко подготовлен к выступлению и знал все подробности предстоящих действий. По окончании совещания, когда разошлись все командиры частей, Иоффе, оставшись со мной вдвоём, дал мне понять, что я не должен выступать после него так, чтобы тускнело его собственное выступление. Было видно, что он недоволен мною, но, может быть, и самим собою.

Этот разговор произвёл на меня крайне тяжёлое впечатление. Мне было горько разочаровываться в Иоффе, видеть, что интересы собственной карьеры на войне для него едва ли не превыше всего. Размышляя в дальнейшем об этом разговоре, я принял решение уйти из бригады. Через многие годы, когда я узнал, что он в детстве увлекался музыкой и играл на кларнете, я стал думать, что он избалован вниманием, - отсюда его чрезмерное себялюбие и стремление к превосходству. Такие черты были характерны и для Хренова, под началом которого Иоффе воевал с финнами..

Но к чести Михаила Фадеевича надо сказать, что в дальнейшем он никогда не возвращался к тому конфликту между нами и ни в коей мере не изменил ко мне отношения. Он даже заговаривал со мною о назначении меня начальником штаба бригады вместо Тихомирова, который собирался уйти из Действующей армии по семейным обстоятельствам в тыл. Но я на это предложение ответил категорическим отказом, сказав, что я приехал на фронт воевать, а не писать сводки о боевых действиях. Примерно так же я ответил и начинжу 65-й армии Швыдкому, который настойчиво и неоднократно предлагал пойти к нему начальником штаба. Я, конечно, понимал, что, уйдя из бригады на должность начальника штаба инжвойск армии, я сделал бы карьеру, но мне прямо-таки претило думать об этом, когда вокруг ежедневно гибли люди.